

О Б Р А Т Н А Я П Е Р С П Е К Т И В А

П. Д. Боборыкин
Скорбная
братия
Драма в пяти актах



| Издательский дом **ДЕЛО** |

Пьеса «Скорбная братия» русского писателя, публициста и драматурга Петра Дмитриевича Боборыкина (1836–1921) – замечательная зарисовка о жизни и нравах литераторов в России 1860-х гг., где личные драмы писателей разворачиваются на фоне внутриредакционного конфликта в одном из известных толстых журналов. П.Д. Боборыкин, внимательный наблюдатель и летописец эпохи, подробно фиксировал происходившие вокруг него события культурной жизни, в которых и сам принимал активное участие как автор, сотрудник и издатель журнала «Библиотека для чтения». В «Скорбной братии» представлена целая галерея портретов: прототипами для ее героев послужили Н. Г. Помяловский, Ап. А. Григорьев, Н. А. Некрасов, Н. Н. Страхов и ряд других заметных участников литературной жизни тех лет.

Текст произведения публикуется впервые, сама рукопись считалась ее автором утерянной. Писарская копия «Скорбной братии» была обнаружена при формировании фонда редких книг Научной библиотеки РАНХиГС. Ранее она принадлежала известному библиофилу и библиографу Е. И. Якушкину (1826–1905). Именно по данному экземпляру подготовлено настоящее издание.

В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

-
- [Скорбная братия. Драма в пяти актах](#)
 -
 - [Предисловие](#)
 - [«Люди сороковых годов» и «новые люди»: новооткрытая пьеса П. Д. Боборыкина о русских «шестидесятых»](#)
 - [Скорбная братия](#)
 -
 - [Акт I](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [Акт II](#)
 -
 - [Сцена 1](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [Сцена 2](#)
 -
 - [I](#)

- [II](#)
- [III](#)
- [АКТ III](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
- [АКТ IV](#)
 -
 - [Сцена 1](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [Сцена 2](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
- [АКТ V](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)

- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)

- [Приложение I](#)
- [Приложение II](#)

- [notes](#)

- [Примечания](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

○ [Комментарии](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)

- [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
 - [74](#)
 - [75](#)
 - [76](#)
 - [77](#)
 - [78](#)
 - [79](#)
 - [80](#)
 - [81](#)
 - [82](#)
 - [83](#)
 - [84](#)
 - [85](#)
 - [86](#)
 - [87](#)
 - [88](#)
 - [89](#)
 - [90](#)
 - [91](#)
 - [92](#)
 - [93](#)
 - [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
-

Скорбная братия. Драма в пяти актах

В оформлении обложки использован фрагмент литографии Л. О. Пастернака «За чтением. Нехлюдов-студент читает Катюше» из серии иллюстраций к роману Л. Н. Толстого «Воскресение» (1899 г.).

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2023

Предисловие

Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) – вероятно, самый плодотворный из авторов, писавших по-русски. Или, скажем точнее, самый плодотворный из тех, кто добился признания. Он писал, кажется, во всех возможных прозаических жанрах – романы, повести, рассказы, драмы, статьи и научные монографии, выступал как переводчик, в том числе и научных трудов.

При жизни – и, в наследие, после смерти – к нему принято было относиться с известной иронией. Однако, обозревая написанное им из перспективы отдаленной, остается лишь подтвердить то, что признавали уже современники: ему удалось создать уникальный портрет русского образованного общества, зафиксировать его историю на протяжении более чем половины столетия. Боборыкин описывал ту среду и тех людей, которых хорошо знал – свой собственный круг общения: образованных помещиков и бедных студентов, редакторов и издателей, писателей и журналистов, чиновников и земских работников, – и нетрудно заметить, что во многом все эти статусы могли принадлежать одному и тому же человеку в разные моменты его биографии. Боборыкин умел смотреть и подмечать приметы времени, имел вкус к деталям – и одновременно тяготел к фиксации перемен, изменений социальной реальности. И он был наделен даром легкого пера – недостатком с точки зрения «большой» литературы, но благом с точки зрения журналиста и беллетриста.

Обращаясь к избитому обороту, скажем, что он «незаслуженно забыт», ведь его многочисленные романы и очерки – один из ценнейших источников, помогающих составить представление о быте, нравах и представлениях русских образованных людей с 1860-х гг. и вплоть до начала 1910-х. И в этом отношении драгоценно его внимание именно к повседневному, рядовому – ведь о больших спорах и резких размежеваниях, о ярких жестах и радикально своеобразных индивидуальных стилях жизни мы можем узнать при желании из множества других источников, а вот о «заурядном» нам узнать намного сложнее: современники знают о своей повседневности и редко оставляют свидетельства о ней и потому так сложно ее реконструировать, когда она уже стала прошлым. И если то, что в глазах современников было сильными сторонами Боборыкина, в основном не утратило значения, то многое из того, что было в их же глазах недостатками, – для нас обратилось в достоинство: внимание к своему кругу, постоянство тем, зачастую фотографичность изображения.

Обнаруженная в фондах библиотеки РАНХиГС ранее неизвестная пьеса Боборыкина «Скорбная братия» – замечательный образчик его творчества: не только ряд сцен из писательско-журналистских нравов 1860-х гг. (которые он хорошо знал и как сотрудник, и как издатель одного из толстых журналов того времени, «Библиотеки для чтения»), но и размышление над уже «уходящей» во второй половине 1860-х натурой – фигурой нигилиста, разночинца-писателя, громко вошедшего в литературу в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Пьеса важна и как снимок своего времени, и как галерея портретов: прототипами для ее героев послужили фигуры Ап. А. Григорьева, Н. Г. Помяловского, Н. А. Некрасова, Н. Н. Стрехова и ряд других заметных участников литературной жизни 1860-х. Поэтому, хотя пьеса сохраняет – как и всякое добротное литературное произведение – свой интерес и при непосредственном, лишенном историко-литературных сведений чтении, издание ее снабжено материалами, позволяющими увидеть и осознать детали, не только переставшие

быть общеизвестными за давностью лет, но и в момент создания бывшие зачастую достоянием довольно узкого собственно литературно-журнального круга. В состав издания, помимо текста пьесы, входят: (1) вступительная статья, посвященная общему контексту создания произведения; (2) подробный комментарий, проясняющий реалии издаваемого текста; (3) статья-комментарий о Е. И. Якушкине, из книжного собрания которого происходит рукопись. Вступительная статья, комментарий и статья-комментарий о Е. И. Якушкине подготовлены А. А. Теслей (БФУ им. И. Канта).

А. А. Тесля

«Люди сороковых годов» и «новые люди»: новооткрытая пьеса П. Д. Боборыкина о русских «шестидесятых»

У Розанова в «Уединенном» – его, пожалуй, и самой важной, и самой известной книге (совпадение, следует признать, в истории литературы не то чтобы обязательное, но нередкое) – есть следующее рассуждение, «лист»:

Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким чужим чувством подписываю «В. Розанов» под статьями. Хоть бы «Руднев», «Бугаев», что-нибудь. Или обыкновенное русское «Иванов». Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал: «Немецкая булочная Розанова». Ну, так есть: все булочники «Розановы», и, следовательно, все Розановы – булочники. Что таким дуракам (с такой глупой фамилией) и делать. Хуже моей фамилии только «Каблуков»: это уже совсем позорно. Или «Стечкин» (критик «Русск. Вестн.», подписывавшийся «Стародумом»): это уж совсем срам. Но вообще ужасно неприятно носить самому себе неприятную фамилию. Я думаю, «Брюсов» постоянно радуется своей фамилии. Поэтому СОЧИНЕНИЯ В. РОЗАНОВА меня не манят. Даже смешно. СТИХОТВОРЕНИЯ В. РОЗАНОВА совершенно нельзя вообразить. Кто же будет «читать» такие стихи.

– Ты что делаешь, Розанов?

– Я пишу стихи.

– Дурак. Ты бы лучше пек булки.

Совершенно естественно»^[1].

Боборыкин мог бы сказать, думается, нечто похожее, если бы был склонен к самоиронии^[2]. Он не вошел, но закрепился в литературном мире с прозвищем «Бобо», окончательно увековеченным уже Достоевским, оттолкнувшись не только от конкретного повода^[3], но и от всего литературного облика и репутации автора, – чтобы создать свой «Бобок», последнее странное слово или звук, которое бормочут или издают полуразложившиеся трупы, уже неспособные к загробной болтовне, – то, к чему они сводятся перед тем, как умолкнуть окончательно^[4].

Во взгляде на Боборыкина в критике по крайней мере с 1880-х гг. установилось редкостное единодушие, впрочем, отрицательного свойства: его творчество почти ни у кого не вызывало сильных чувств – если о нем и писали, то почти исключительно «по поводу», «в связи с [новым романом или пьесой]». Солидные критики и исследователи-современники касались работ Боборыкина преимущественно мельком: так, в обстоятельнейшей коллективной «Русской литературе XX века (1890–1910)» под редакцией С. А. Венгерова (то есть охватывающей период, в который Боборыкин одних только романов написал более дюжины) о нем мы найдем лишь несколько разрозненных фраз, где он в основном упоминается как обозначение типового явления^[5].

В этом было нечто действительно оскорбительное – вплоть до поразительной статьи

Дм. Философова, написанной к пятидесятилетию литературной деятельности Боборыкина. В юбилейной статье Философов на многих страницах обстоятельно рассуждает, отчего он оказался «не нужен среднему русскому читателю», почему чужд и «избранному кругу подлинных ценителей прекрасной литературы», и «широкому кругу читателей»^[6]. Юбилейная статья, целиком посвященная анализу и объяснению, отчего ее герой, точнее, написанное им за всю долгую жизнь, ненужно и никчемно, – жестокость особого рода. Но Боборыкину было не привыкать к подобному: его имя давно уже сделалось нарицательным. Трудно было поверить, что все это изобилие романов, пьес, очерков, трактатов и эссе и многого другого написано одним человеком: он сделался именем, обозначающим огромный и при этом слабо различимый в деталях, в тех частях, из которых он сложен, массив текстов. Так, уже помянутый выше Розанов писал по поводу Бальмонта в первом коробе «Опавших листьев»: «Это какой-то *впечатлительный* Боборыкин стихотворчества. Да, – знает все языки, владеет всеми ритмами, и так сказать, не имеет в матерьяле сопротивлений для пера, мысли и воображения: по сим качествам он кажется *бесконечным*»^[7].

Следом Розанов, как легко догадаться по самому построению записи, отказывал Бальмонту в «душе», которая отсутствует за разнообразием нарядов. Но как бы ни судить о наличии или отсутствии души в Бальмонте или Боборыкине, сказанное первым сохраняет свою силу, но основным, господствующим, оказывается второе, пренебрежительное, обиходно-литературное – «боборыкинщина».

В этом отношении к Боборыкину сошлись разнообразные причины:

– во-первых, своеобразная, но более чем понятная, обратная сторона необычайного расцвета русской литературы, ставшей одной из основных европейских (а в контексте времени, следовательно, и мировых) литератур XIX века. Великие авторы-современники создавали ситуацию, в которой других авторов критики и вдумчивые читатели судили по их мерке. Так, для сегодняшнего читателя звучит непроизвольно комичным рассуждение Философова, замечающего вполне серьезно, что Боборыкин – нет, отнюдь не Лев Толстой и не Достоевский. Но ведь не только Боборыкин их современник – и Философов печатает свою статью в XII номере «Русской мысли» за 1910 г., лишь несколько месяцев спустя по кончине Льва Толстого^[8];

– во-вторых, действовал парадокс художественной формы: от автора ждали и он ждал от самого себя (или сокрушался, если оказывался неспособен) романа, пьесы, хотя бы повести, а роман и пьеса требовали «мысли». Боборыкин и пытался всячески обречь свои наблюдения, бесконечный ряд зарисовок и портретов, в некое целостное художественное высказывание – сообщить «единую мысль», а поскольку натура его была прежде всего репортерская, внимательного наблюдателя все новых и новых типов и ситуаций, только возникающих или уже распространяющихся в жизни, то «мысль» чаще всего оказывалась более чем условной. Тривиальное, расхожее ведь тем и удобно, что ничему не мешает, и, следовательно, не заслоняет сам предмет. Но от этого же не было ничего более резонного, чем упрек в банальности содержания, если ставить раз за разом вопрос о смысле целого, романа или повести, а не об отдельных сценах. Впрочем, иногда, как в упомянутом выше скандальном романе 1868 г. «Жертве вечерней», эта условность общей рамки оборачивалась парадоксом: попытавшись рассмотреть «женский вопрос» на излете 1860-х, судьбу молодой вдовы, ищущей себе смысла жизни и в первой части окунающейся в мир либертинажа, Боборыкин неожиданно для себя произвел скандал (в том числе и от того, что слишком погрузился в атмосферу французской литературы, живя с осени 1865 г. в основном за

границей, и недоучел различие границ приличий в русской литературе с французской, точнее – недооценил их важность, вызвав на себя шквал моралистической критики сразу из всех политико-литературных лагерей);

– в-третьих, он оказывался слишком понятен, поскольку сделал своим предметом описание собственного круга, образованного общества, интеллигенции (понятие, введением которого в русский оборот он гордился, и был, как теперь хорошо известно, неправ, утверждая свой приоритет^[9], но, во всяком случае, он много сделал для его популяризации).

Впрочем, в рассуждения критиков следует внести важное уточнение: Боборыкин никогда не пользовался громкой славой, не был предметом обожания (как и сильной ненависти), не был властителем умов, но при этом его, по крайней мере до конца 1900-х, стабильно публиковали и читали. Он был именно профессиональным писателем, от которого читатели ждали в меру интересного, достаточно умного текста – рассказа о мире узнаваемом, общем и для автора, и для его аудитории. Розанов недружелюбно, но метко записывал в «Уединенном»: «По фону жизни проходили всякие лоботрясы: зеленые, желтые, коричневые, в черной краске... И Б. всех их описывал: и как шел каждый, и как они кушали свой обед, и говорили ли с присюсюкиванием или без присюсюкивания. Незаметно в то же время по углам “фона” сидели молчаливые фигуры... С взглядом задумавшихся глаз. Но Б. никого из них не заметил (о Боборыкине, “75-летие”)^[10].

Последнее, бывшее скорее препятствием, недостатком для современников, интересующихся «другим», открывающим для себя русскую деревню, «мужика», или, например, вглядывающихся через посредство Лескова в быт и нравы духовенства, для нас оборачивается большим преимуществом. Ведь Боборыкин на протяжении целой половины столетия вновь и вновь описывает, о чем думают, как живут, что обсуждают, какими желают выглядеть в своих глазах и глазах окружающих, а какими являются на самом деле русские интеллигенты. При этом он описывает, не имея никакой отчетливой партийной позиции, в каждый конкретный момент разделяя те взгляды, которые полагается иметь всякому честному человеку, но без крайностей, – и в силу этого его никто не мог признать вполне своим, хотя отчасти он был своим почти всем.

* * *

Театр с молодых лет и на протяжении всей жизни был предметом любви Боборыкина^[11]: именно с драматургией был связан его литературный дебют^[12], о своих ранних театральные интересах и увлечениях он подробно рассказывает не только в мемуарах, но и в огромном автобиографическом романе «В путь-дорогу» (1862–1864)^[13], к которому прямо отсылает в воспоминаниях как к изложению – лишь чуть подернутого романским переосмыслением – обстоятельств и, главное, идей и чувств своей молодости. О любви Боборыкина к театру много говорят его воспоминания, в особенности своеобразные «Столицы мира» (1911) – рассказ об истории европейского театра, беллетристики и журналистики за тридцать лет – через собственный опыт, непосредственное наблюдение. В самом начале 1870-х он будет читать курс лекций о театре в Петербургском «Собрании художников», который затем, обработанный и дополненный, выпустит в качестве объемной книги – «Театральное искусство» (1872), один из первых отечественных трактатов о театре и

актерской игре^[14].

Публикуемая в данном издании впервые пьеса Боборыкина «Скорбная братия», однако, в том числе и по замечанию самого автора была скорее «повестью в диалогу на тему злосчастной судьбы “братьев-писателей”»^[15] (отметим, что в русской литературе XIX века довольно большое число произведений, написанных в драматической форме, не предназначались или по крайней мере не предполагали в качестве само собой подразумеваемого условия постановку на сцене – многие пьесы, печатавшиеся в журналах, изначально задумывались как пьесы для чтения, для иных эта судьба мыслилась как вполне возможная – в силу намного большей строгости цензуры театральной по сравнению с общей). История рукописи «Скорбной братии» изложена впервые в статье С. А. Миллер^[16], здесь же коротко передадим основные ее моменты:

– рукопись была обнаружена в Библиотеке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Москва);

– она представляет собой переплетенный писарский текст с карандашными пометками, в каталоге Библиотеки обозначена как «Скорбная братия: Драма в пяти актах. – Б. м.: Б. и., 1866. – 205 [1] с.; 27–22 см. – Рукопись»;

– по штемпелям можно определить ее происхождение – из библиотеки Е. И. Якушкина, видного земского деятеля, пушкиниста, исследователя обычного права, сына декабриста И. Д. Якушкина. После кончины Якушкина его библиотека (насчитывавшая свыше 10 000 томов) была пожертвована его сыном Московскому городскому народному университету им. Шанявского. В числе пожертвованных томов оказалась и данная рукопись, как о том свидетельствует уже штамп библиотеки Университета им. Шанявского; затем она перешла в библиотеку Высшей партийной школы при ЦК КПСС (ВПШ), и далее – в библиотеку Российской академии государственной службы, преемницы ВПШ, а оттуда юридически (никуда не перемещаясь физически) при слиянии Академии государственной службы с Академией народного хозяйства – в состав Библиотеки РАНХиГС;

– уже первичное изучение рукописи позволило идентифицировать ее с утраченной автором, но упоминаемой в его мемуарах рукописью «Скорбная братия» Боборыкина. Таким образом, перед нами ранее неизвестная пьеса одного из заметных писателей русского XIX века, представляющая собой повествование о временах и нравах одного из самых бурных периодов русской истории того века – шестидесятых годов.

За Боборыкиным прочно закрепилась репутация копииста действительности, списывающего с наблюдаемого вокруг себя. Так, помимо приведенной выше цитаты из Розанова, можно вспомнить характерное (и намного более раннее) ироничное замечание Тургенева, хорошо знакомого с автором. М. Е. Салтыкову (Н. Щедрину) 31 октября (12 ноября н. с.) 1882 г. из Буживаля Тургенев пишет, откликаясь на критическое замечание собеседника о Боборыкине^[17]: «Я легко могу представить его на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние “веяния” погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их нарождения!»^[18].

Сам Боборыкин не только не отрицал и не отказывался от такого рода понимания своего писательства, но и прямо отстаивал его: «То, что критики старого пошиба называют “воссозданием”, – просто выдохшееся общее место, и ни один писатель, честно и просто

относящийся к своему делу, не станет скрывать того, что он в непосредственном наблюдении черпает весь материал своего творчества, что без отдельных лиц не может быть в мозгу писателя конкретных образов.

Так точно всегда писал и пишет наш соотечественник И. С. Тургенев. Несколько раз я слышал это от него. Все его типы, сделавшиеся классическими – живые лица, а вовсе не создания его воображения, живые до такой степени, что они даже не представляют собой сочетания свойств разных лиц, а относятся прямо к одному лицу, наблюдаемому автором. Так точно созданы и Рудин, и Базаров, и все выдающиеся личности романа “Новь”. Из французских драматургов, не говоря уже о Сарду, у которого слишком много эскизной работы, Дюма-сын не раз заявлял в печати, что у него нет ни одного выдуманного сюжета, что он положительно не привык писать какую бы то ни было пьесу, если она не основана на действительном происшествии. Читатель извинит меня за это отступление. Мне кажется, что оно было не лишним у нас, в нашем журнализме, где часто беллетристу приходится выслушивать массу бесплодных, пустых и придирчивых замечаний и требований»^[19].

Действительно, читая публикуемую впервые пьесу «Скорбная братия», можно даже не особенно затрудняться поиском прототипов большинства героев – они более чем прозрачны под другими именами. Так, Сахаров, «магистр, 30 лет», отсылает к хорошо знакомому Боборыкину Н. Н. Страхову, магистру Петербургского университета, сотруднику «Века» и «Эпохи» братьев Достоевских, переводчику, глубокому знатоку европейской философии и науки. Кленин, «шеллингист и народник», – разумеется, Ап. А. Григорьев, для опознания которого хватило бы и одного «шеллингиста», философской ориентации столь редкой в 1860-е в России, что из литературно заметных фигур не остается никаких других вариантов. В других персонажах легко угадываются И. С. Тургенев (Погорелов), А. Н. Серов (Бурилин), Н. А. Некрасов (Карачеев).

Однако сводить пьесу к портретам нет никаких оснований, хотя бы потому, что собственно портретных зарисовок в ней нет, а характеризовать ее лишь как сцены, зарисовку знакомой среды и конкретного жизненного эпизода означает существенно суживать ее содержание. Известная репортажность письма Боборыкина, его склонность подчеркивать реализм/натурализм своих произведений (что критиками будет сводиться к фотографичности – на это, в свою очередь, он косвенно будет отвечать уже в романах, говоря о фотографии как о произведении искусства, о снимках, в которых есть и рука мастера, а не простой отпечаток действительности^[20]) приведет к тому, что этой стороной и будут нередко ограничиваться. Но Боборыкин, на что претендовал он сам, не был лишь простым обладателем фотографического аппарата – он умел делать снимки, выбирать кадр и умел в том числе работать ножницами и клеем, монтировать.

Эффект простого воспроизводства действительности отпадет, стоит лишь задать вопрос – когда именно происходит действие драмы? И мы сразу же обнаруживаем, что разные моменты, разные конкретные указания ведут нас в разные стороны. Так, из биографии Ап. Григорьева (в том числе из материалов, опубликованных вскоре после его смерти Страховым, и, несомненно, хорошо известных Боборыкину) известно, что расставание с его последней длительной связью, Марией Федоровной, приходится на 1862 г., время его отъезда в Оренбург – и после этого разрыва он возвращается, пропившийся почти до нитки, в Петербург в том же году, активно работает, пьет, редактирует и переводит, сидит в должном отделении, и в итоге умирает ранней осенью 1864 г.^[21] Тем самым время действия определяется, если следовать за биографической рамкой Григорьева, прообраза одного из

двух главных действующих лиц пьесы, периодом между осенью 1862 г. и осенью 1864 г., а с учетом того, что в конце главный герой умирает, оно относится к сентябрю 1864 г.^[22]

В сохранившейся писарской копии драмы, по которой она печатается в данном издании, рукой^[23] Е. И. Якушкина, хорошо знавшего и Боборыкина, и тот писательский и журналистский круг, который он описывал, напротив фамилии второго главного действующего лица, Элеонского, указан прототип – Н. Г. Помяловский. Если согласиться с такой трактовкой, то действие относится скорее к концу 1862 – осени 1863 г., поскольку в начале октября 1863 г. он скончался от гангрены (ранее, в сентябре месяце, пережив острый припадок белой горячки – той, от которой страдает Элеонский, в отличие от хронического алкоголика Кленина). О том же свидетельствует и прямое указание самого Боборыкина, по памяти треть века спустя писавшего: «В герое я представлял себе бедного Помяловского, безвременно погибшего от роковой страсти к “зелену вину”»^[24].

Простую схему портретного сходства портит, впрочем, уже то обстоятельство, что в биографии Помяловского мы не найдем решительного разрыва с редакциями, перехода в положение литературного отщепенца. Если искать персонажа из этого круга, чьи биографические обстоятельства будут наиболее схожи с изложенными в пьесе, то ближе всего окажется Николай Успенский. Сын деревенского священника (который во взрослом возрасте никак не мог забыть своему двоюродному брату, знаменитому Глебу Успенскому, его привольного детства и домашнего довольства – довольства, способного выглядеть так только во взгляде совсем бедняка), он сыскивает ранний и громкий успех своими рассказами – так что Глеб Успенский довольно долгое время будет упоминаться каждый раз как «другой», двоюродный брат «того». Быстрый успех закончится конфликтом с «Современником» (последний рассказ Николая будет в нем опубликован в начале 1862 г.), а следом и шельмованием с его стороны (Н. Щедрин опубликует в 1863 г. язвительную пародию на рассказ Н. Успенского). Он будет еще долго перебиваться то мелкими публикациями, то помощью Литературного фонда, то буквально нищенством, развлекая под конец жизни публику рассказами от лица крокодила, чучело которого будет таскать с собой, чтобы, опубликовав перед смертью воспоминания, где с равной неприязнью обличает всех литературных заводил, независимо от партийных оттенков, перерезать себе горло 21 октября 1889 г.^[25] Впрочем, искать прямого биографического сходства исключительно с кем-то одним нам представляется в данном случае как раз неверным: Боборыкин в лице Элеонского создает образ литератора-нигилиста из поповичей^[26], очень узнаваемый, с типичными ситуациями. Так, в комментариях к тексту драмы мы приводим несколько выдержек из дневника Ф. М. Решетникова, другого писателя того же круга (правда, выходца не из духовного сословия, а из самого низшего чиновничества Пермской губернии) – опять же схожих по ситуациям и их переживанию, но различных по реакции. Решетников во многом заводит дневник, чтобы делиться своими страданиями, выговаривать уязвленность, не решаясь бунтовать. Примечательно, что один эпизод из дневника Решетникова, переживание о возможности или невозможности пройти мимо швейцара в дом, где живет Курочкин, издатель «Искры», который был должен ему денег, прямо рифмуется с сохранившимся в воспоминаниях одного из ключевых сотрудников «Современника» (а в дальнейшем соредатора «Отечественных записок») Г. З. Елисеева эпизодом из жизни другого писателя-разночинца – Левитова (в свое время едва ли не самого известного из всего этого круга). Елисеев вспоминал, как «еще во времена существования “Современника” пришел к М.Е.

<Салтыкову> на квартиру и, кажется, по его же приглашению покойный Левитов, чтобы поговорить о представленной им в редакцию “Современника” статье. М.Е. был дома. Но, вероятно, не предупрежденный о приходе Левитова лакей не только его не принял, но по его неказистому платью отнесся к нему с обыкновенным лакейским высокомерием. Левитова это возмутило и он написал М.Е. обидчивую записку, в которой, титулуя его вашим превосходительством, наговорил ему пропасть разных неприятностей. Это сильно взволновало Салтыкова и он долго не мог забыть записки Левитова»^[27].

Переживание социальной и культурной пропасти, отделяющей нигилистов (как поповичей, так и других разночинцев) от «хорошего» общества, – и в том числе восприятие как оскорбительных попыток со стороны принадлежащих к последнему вести себя с ними как с равными – замечательно передано в мемуарном очерке Николая Успенского о Тургеневе, в эпизоде первого знакомства с ним: «Мне очень хотелось с вами познакомиться, – начал Тургенев, опускаясь в кресло, – хотя заочно я знаю вас давно, по вашим рассказам, которыми всегда запасаюсь на дорогу, чтобы не скучать... Мы с вами, кажется, земляки?

– Я уроженец Тульской губернии, Ефремовского уезда.

– В Ефремовском уезде, близ села Каднова, у меня есть имение, где я, впрочем, почти никогда не бываю... Я люблю свою родину – село Спасское, на границе Чернского и Мценского уездов. У вас, я слышал, есть кто-то из родных в Чернском уезде?

– Мой дедушка, сельский дьякон...»^[28].

Впрочем, вернемся к хронологии: сцена, открывающая III акт, в кабинете редактора, в которой даже по одному описанию обстановки угадывается кабинет Некрасова, страстного охотника, характеризует обстановку «дружеских обедов» 1855–1857 гг. и ближайших к ним – опыте заключения «обязательного соглашения»^[29]. В этот период между Чернышевским, как воплощением новой ориентации, новой программы журнала, и прежним привычным кругом литераторов дворянской культуры Некрасов выбирает, пытаясь совместить обе стороны (со стороны Григоровича, Дружинина, Тургенева, Анненкова и др., радикальное неприятие, отталкивание от Чернышевского и его круга, в том числе сугубо стилевое^[30]). Для такого хронологического несоответствия у Боборыкина могло быть основание: поскольку в 1862 г., после ареста Чернышевского и приостановки «Современника» на восемь месяцев, ходили (среди сотрудников журнала) слухи о словах Некрасова о перемене направления, отказе от прежней редакции^[31].

В пьесе, в самой задумке сделать предметом обсуждения литературные нравы и порядки просматривается именно та черта, которая отмечалась едва ли не всеми, писавшими о Боборыкине, – его склонность и способность подмечать и обсуждать то, что только входит в порядок дня или является текущей новостью. В этом плане в пьесе нам кажутся различимыми отголоски самого крупного журнального скандала 1860-х, вызванного публикацией в 1869 г. брошюры^[32] бывших ведущих сотрудников «Современника», М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского с обличением Н. А. Некрасова и устройства им новых «Отечественных записок» под формальной редакцией А. А. Краевского, бывшего (вместе со своим журналом) лишь несколько лет назад одним из основных объектов шельмования на страницах «Современника». Поскольку прямых, очевидных отсылок к «Материалам...» в тексте драмы мне обнаружить не удалось, то само по себе это никак не аргумент для поздней датировки. Но целый ряд других обстоятельств укрепляют в этом мнении:

– во-первых, в гл. IX воспоминаниях «За полвека» Боборыкин, вообще очень точный относительно собственных произведений, прямо пишет, что «пьес за все четыре с лишком года, проведенных за границей, я не писал», то есть с сентября 1865 г.^[33];

– во-вторых, ряд мелких деталей, отмеченных нами в комментариях, также вынуждают сомневаться в датировке пьесы 1866 г.: так, Сахаров в перечне действующих лиц обозначен как «магистр», но его прообраз, Н. Н. Страхов, получил степень магистра лишь в 1867 г., тогда как оборот «люди сороковых годов» входит в повсеместное употребление и становится предметом напряженной полемики в конце 1860-х гг.;

– в-третьих, драматургический интерес, действительно, возрождается у него с 1870 г., когда он – пока еще не окончательно – возвращается в Петербург, в том числе погружаясь в атмосферу не только театральных, но и журнальных дел, а зимой 1871–1872 гг. впервые сравнительно близко наблюдает Некрасова^[34];

– в-четвертых, о пребывании в Петербурге зимой 1871–1872 гг. Боборыкин пишет: «И опять Петербург. И опять надо было впрягать себя в ту упряжь бытописателя и хроникера русского общества»^[35]. Правда, в тех же мемуарах сам Боборыкин относит пьесу к 1866 г., перед недолгим возвращением из Парижа в Россию, отмечая, что она у него не сохранилась: «Рукопись этой вещи у меня зачитал один бывший московский студент, и я не знаю, сохранилась ли черновая в моих бумагах, хранящихся в складе в Петербурге»^[36]. Но значимо и то, что в 1871 г., осенью Боборыкин пишет на сходную же тему пьесу (для бенефиса Монахова) «Прокаженные и чистые», «из жизни петербургской писательско-театральной богемы» (она не была пропущена на сцену театральным комитетом и осталась неопубликованной)^[37]. В то же время Боборыкин пишет для «Отечественных записок» большой роман «Солидные добродетели»^[38] – вновь во многом автобиографический, начинающийся с ситуации 1865 г., когда сам Боборыкин, вынужденный закрыть приобретенный им ранее журнал «Библиотека для чтения», оказывается без ясного положения, без места и с большим долгом. В романе основная тема – противопоставление ищущих, не могущих усесться «на месте», обрести положение и довольство им, и тех, кто благополучно и твердо ведут свое дело, умудряясь не усомниться в себе. Для Боборыкина, действительно, вторая половина 1860-х окажется временем неопределенности – своеобразного бегства за границу, журнальной и газетной работы, чтобы в итоге, к началу 1870-х он мог уже окончательно определить себя именно как профессионального писателя, живущего сугубо своим литературным трудом.

Примечательно, что в 1867 г. Н. В. Успенский будет писать пьесу «Смерть писателя», о которой А. Д. Галахов, направленный Литературным фондом для освидетельствования положения дел Успенского для решения вопроса о выдаче ему ссуды, доносил в правление: «Пьеса г. Успенского <...> едва ли может быть принята журналистами, так как в ней выведен сотрудник, погибающий от их недобросовестности и торговых расчетов. Поступит ли она в театр и пройдет ли еще сквозь театральную цензуру – неизвестно»^[39].

Как бы то ни было – написана ли была пьеса, как значится в копии и как указывает в воспоминаниях сам Боборыкин, в 1866 г. или же позже – из сказанного представляется достаточно ясным, что ее содержание никак не может быть сведено сугубо к изложению конкретной петербургской печальной истории, судьбы литератора-разночинца, попавича Помяловского. Собственно, сама возможность более поздней датировки связана с чувствительностью Боборыкина к тенденциям и вопросам своего времени: он выстраивает

не просто повествование о погибающем писателе, а сводит вместе двух погибающих – Клеина и Элеонского.

Драматургически в пьесе два конфликта. С первого она начинается и снятием его завершается. Это конфликт между «старыми» и «новыми», «людьми сороковых годов» и «новыми людьми», прямо отсылающий к «Что делать?» Чернышевского (1863), имеющего, как известно, подзаголовок: «Из рассказов о новых людях». Одновременно это и не конфликт двух поколений в смысле одной среды, поскольку Клеин принадлежит (как и Григорьев) к московскому дворянскому быту, хоть и тяготеющему к Замоскворечью, месту обитания купцов и мещан, но смотрящего на них во многом извне, сближающегося, но не сливающегося. Элеонский – выходец из провинциальной семинарии, сохраняющий дружбу и заботящийся о своем товарище, также подавшемся из духовного сословия, но не одаренного сколько-нибудь значительными талантами, чтобы выбиться в люди. Но черты конфликта поколений придаются ему тем, что «старые» и «новые» оказываются двумя поколениями – или во всяком случае претендуют на это – в литературном мире: «новые» люди – новый голос в журнальном мире (и при этом вызывающий интерес публики, ведь сам визит Элеонского к Клеину связан со стремлением заполучить последнего в журнал, где Клеин является главным сотрудником).

Второй конфликт – между Элеонским и «генералами» от литературы. И этот конфликт оказывается не просто непреодолимым, но в результате его Элеонский гибнет, бросая вызов «ерихонцам» и сам понимая, что больше литературной работы, той, которая позволяла бы ему существовать, он не найдет.

Мир, картина которого представлена веселым разговором в кабинете редактора, – мир благополучия, умения устраивать свои дела, ссылаться на возвышенное и в то же время ценить «клубничку» – то, что производило на молодого Боборыкина столь сильное впечатление, что он раз за разом вспоминает о своеобразных разговорах, которые доводилось слышать от Писемского, Тургенева и иже с ними, видя в этом, справедливо, отголоски барства, старой дворянской культуры (символом чего станет ночная ваза в кабинете Писемского, довершающего, наряду с шубой, повешенной на стену там же во избежание воровства слуг, его обстановку, чуждую стеснительности новой, буржуазной, викторианской, культуры). В этот круг, выглядящий в пьесе несколько архаично, отсылая ко временам предшествующего десятилетия^[40], ни Клеин, ни Элеонский не могут войти, но при этом Элеонский воспринимает его как вызов и обман.

Анализируя конфликт Н. В. Успенского с «Современником», К. Ю. Зубков пишет: «По всей видимости, Успенский изначально воспринимал финансовые условия своего сотрудничества в “Современнике” именно как основанные на дружбе, причиной же разрыва с Некрасовым послужило осознание того, что в действительности редактор журнала был вправе пользоваться произведениями Успенского как своей собственностью»^[41]. Конфликт, который виден в пьесе Боборыкина, во многом схож с этой трактовкой: негодование Элеонского вызывается и пренебрежением к сотрудникам, которое видится в переносе без предупреждения приемного дня, и в отказе авансировать, и в обращении с сотрудниками как с наемными работниками. Столкновение, которое происходит у Элеонского с редакцией и редактором, во многом связано с превращением (по мере развития журнального рынка) журнала именно в предприятие. Примечательно, что человек совсем иных политических воззрений и эстетических пристрастий, К. Н. Леонтьев, писал с возмущением о редакционных нравах «Московских ведомостей» и «Русского вестника»: «У Каткова я был

какой-то пролетарий, труженик, подчиненный, ищущий его денег, бывающий только по делу»^[42].

В этот новый журнальный мир не вмещаются ни «последний романтик» Ап. Григорьев, ни «пошлый романтик», как сам себя в пьесе называет Кленин, ни Элеонский и его исторические прообразы. Если Кленин оказывается уходящей натурой «людей сороковых годов», то Элеонский уже во 2-й половине 1860-х гг. также фигура, сходящая со сцены: «Классический “нигилизм” после середины 1860-х гг. оказался настолько отодвинут на периферию литературного поля, что представитель этого типа не имел никаких шансов оказаться активным участником “серьезной”, журнальной литературы, а сами “нигилисты” старой формации стали достоянием хоть и недавней, но истории»^[43].

А. А. Тесля



Мученикам цивилизации^{1}

Истинная история рода человеческого есть история стремлений, которые познаются умом, а не событий, которые доступны чувствам.

Бокль^{2}, т. 1, ч. 2, стр. 620^{3}

*Братья-писатели, в нашей судьбе
Что-то лежит роковое.*

Н. Некрасов



Скорбная братія.

Драма въ пяти актахъ

„Братья-писатели, въ нашей судьбѣ

Что-то лежитъ роковой!„

Н. Некрасовъ.

1866.



Актъ первый

Дѣйствующіе:

Ан. Грандуревъ.

Викторъ Петровичъ Кленинъ, поэтъ и критикъ, главный сотрудникъ литературнаго журнала, 45 лѣтъ. (Шеллингистъ и народникъ).

Графъ Сахаровъ, магистръ, 30 л.

(?) Гудзенко, литературный хохолъ, 32 л.

(?) Подуревъ, поэтъ и борзописецъ изъ

студентовъ, 25 л.

? Каравалевъ, актеръ, 35 л.

Буренинъ Бурининъ, композиторъ, 28 л.

Кашинъ Клеонскій, молодой писатель, 26 л.

Полгаровъ. Александръ Ивановичъ Богорьковъ, литературная знаменитость, 48 л., мясущная личность.

сотрудники

того же

журнала.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Виктор Петрович Кленин, поэт и критик, главный сотрудник литературного журнала, 45 лет (шеллингист и народник)^[4].

Сахаров, магистр^[5], 30 л., **Гудзенко**, литературный хохол^[6], 32 л., **Подурев**, поэт и борзописец из студентов, 25 л. – сотрудники того же журнала

Караваяев, актер, 35 л.

Бурилин, композитор, 28 л.

Элеонский, молодой писатель, 26 л.

Александр Иванович Погорелов, литературная знаменитость, 48 л., изящная личность.

Действие происходит в квартире Кленина. Большая комната. Мебели мало. Посредине стол, заваленный рукописями, корректурами и книгами. На нем же несколько бутылок пива и стаканы. Вечер.

I

Кленин, Сахаров, Подуруев сидят у стола.

Сахаров. Нет, Виктор, ты не говори этого, Элеонский – талант! Язык один чего-нибудь да стоит!^{7}

Кленин. Бурсацкий жаргон^{8} и больше ничего. Это стихийное начало, душа моя, а не собственный зачин. Я уважаю стихийные начала, но не частные, не болезненные! Вот в Полежаеве, например, ты чувствуешь, какие силы завещала ему стихия! А в Элеонском бесспорно есть дарование, да все это разъедено семинарской желчью, напускным резонерством – вот чего моя утроба не переваривает!

Сахаров. По-моему, не худо бы приурочить Элеонского. Хорошая беллетристика, особенно к подписке, – вещь не лишняя^{9}.

Подуруев. Еще бы!

Сахаров. Элеонский с своей редакцией не в ладах. Да и в самом деле, они из него весь сок выжимают! Если б теперь сойтись с ним поближе, он, наверное, отстал бы совсем от того лагеря.

Подуруев. Вот погодите. Гудзенко хотел непременно привести его сюда, может, даже сегодня приведет.

Сахаров. Где они познакомились?

Подуруев. Где-то в трактирном заведении^{10}. Хохол от него в восхищении, говорит, душа-человек!

Сахаров (*Кленину*). Тебе, кажется, это не по нутру?

Кленин. Нет, что же!.. Я очень рад... бойкий сотрудник в теперешнее время – находка. Только, братцы, я вот что вам скажу: как волка не корми, не приручить его ни в жизнь! Не знаете, что это за господа? Мы – любовь, идеал, народное начало, они – отрицание, рассудочность, угловатые прозаические бредни. Не вижу я, как перешагнут эти пропасти!^{11}

Подуруев. Да это только так, для форсу делается! Давай его нам денька на два. Посмотри, как мы его отшлифуем! Он же, говорят, выпить и закусить не дурак! А коли человек не глуп выпить, значит в нем душа есть.

Кленин. Человек, братец, пьет от двух причин: или от потребности загула, или от безобразия. Иногда от того и от другого вместе. Я прошел оба стадия. В молодом малом загул – хороший знак до известного возраста, коли судьба не подбавит от себя разных

пакостей. Я вам про себя скажу: не начни я с вами новой жизни, с душевной целью, с горячим словом – я пропал бы!.. А теперь – баста! (*Подуруеву.*) И тебе, юноша, не позволю беспутничать! И вот вам доказательство, братцы, что как бы не была глубока бездна всяких мытарств, идея одна в силах возродить вас и очистить (*декламирует*):

Как хартею белую
Как скорлупу яичную
Как девицу непорочную
Как вдовицу благочестивую!^{12}

Подуруев. Ха, ха!.. Скорлупа яичная!.. Ну меня, кажется, не скоро отмоешь!

Кленин (*Сахарову*). Ты, мудрец, смотри построже за ним. Говорю тебе, Подуруев: настало время творить и мыслить. Я за всех вас погулял на своем веку, и из глубины прегрешений моих говорю здесь: да отыдет от тебя чаша сия!

Подуруев. В чувствительность впадаешь на старости лет. Лучше, по-моему, держаться раскольничьей морали: коли не согрешишь, так и не покаешься...^{13} Однако распорядиться бы насчет выпивки. Придет свежий человек, надо же его угостить! Я спосылаю Акулину? Хересов^{14}, что ли?

Сахаров. Ведь ты дал обещание кроме пива ничего в рот не брать.

Подуруев. Когда?.. Что ты, что ты, отроду в первый раз слышу. Без хересов, ты сам рассуди, как же можно завести знакомство с хорошим человеком?

Кленин. Я нынче скуп стал на вино.

Подуруев. Кабы мы с твое выпили на своем веку, так, пожалуй, можно бы под конец и на антониеву пищу^{15} сесть!

Кленин. Да, поживи с мое, Подуруев! Кто из вас теперь может крикнуть с таким захватом страсти, как мы кричали:

Чего хочу? Чего? О! так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой – их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь!^{16}

Подуруев. Славные стихи. Но хереса стихам на мешают. Так или нет, Сахаров?

Сахаров. Смотря по количеству...

Кленин. А ты лучше подготовься прочесть свою «Вакханку»... Я жду Погорелова, проверим его чутьем эту вещь! Я ей доволен. У тебя есть закал, у тебя каприз есть и эллинская пластика, но Погорелов чуток, как нервная женщина.

Сахаров. А он обещал быть?

Кленин. Как же. Мы ведь с ним когда-то в Москве *прожигали* жизнь!..

Подуруев. Когда-то – не теперь! Больно уж отшибает от него литературным генералом!

Кленин. Эх, душа моя, ведь не все же такие оборвыши с виду, как мы с тобой! Человек всегда хорошо ел и честно мыслил, как выразился Писемский^{17} об одном из своих героев,

весь свой век снимал сливки с интеллигентных наслаждений. Разумеется, выработал себе не наш тон и не наши ухватки. Но образованнее его не найдешь между пишущей братией, в этом я тебя уверяю; а уж об чистоте художнического чувства и говорить нечего!..

Сахаров. Привез он новую повесть?

Кленин. Привез, я уж его допрашивал. Говорит, еще не отделана. Да врет, хоронится!

Подуруев. Наверняка отдаст туда... тем ерихонцам! [18](#)

Кленин. Наверяд ли, я похлопочу, буду бить челом во имя старой приязни.

Сахаров. Удивительно, как это, Погорелов – художник, и вдруг печатает свои вещи там!..

Подуруев. Душа моя, это делается по русской распущенности. С редактором приятель, вот и все. А внутренно – он наш. За хересами-то все-таки не мешало бы послать. Можно будет и генерала от литературы угостить.

Кленин. Да кого послать-то? Моя дуэнья удалилась, кажется, ко всенощной.

Подуруев. Вот я покричу. (*Подходит к дверям в переднюю.*) Акулина! Здесь ты? Никого! Да уж нечего делать, я сам сбегаю.

Звонок.

Вот и наши катят! (*Идет в переднюю отпирать дверь.*)

II

Бурилин и Карavaев, за ними Подуруев.

Кленин. А! милости просим! И ты, Карavaев, редкий гость!

Карavaев. Сам знаешь: мы только по субботам от службы избавлены.

Кленин. Служба! Скверное слово в устах художника!.. Садись, садись, дружище, и ты, Бурилин. Вы вместе прибрели?

Бурилин. Карavaев ко мне завернул.

Карavaев. Ну брат Виктор, какой он мне сейчас хор отмахал из новой оперы!.. То есть я тебе скажу: сверхъестественно, сначала этак на басах все гудит, как море разливается, потом альты подхватывают и вправо и влево, а в оркестре, говорил, в это время на арфе будут подыгрывать! Нет, ты попроси его в существе изобразить.

Кленин. Еще бы! Да вот, досада, инструмента не завел. Видите, братцы, мебели-то у меня скудно. Обзавожусь, хочу совсем устроиться, на буржуазную ногу. Дайте срок, на Щукин [19](#) отправлюсь покупать диван!

Бурилин. Нет, ты лучше попроси Карavaева представить, как генерал про своего племянника рассказывает.

Подуруев. Ну-ка, ну-ка! Карavaев! Пожалуйста!

Кленин. Занятно прислушать.

Карavaев (*делает старческую мину*). Есть у меня племянник. Развитие, кричит, прогресс! *Чего?* Я спрашиваю! Стремимся, говорит, эмансипацию [20](#) ввести, движение хотим устроить. *Куда?* Говорю. (*Пауза.*) Водку сильно пьет!

Все. Ха, ха, ха!..

Сахаров. Водку пьет!.. Это превосходно!

Кленин. Эх, если б они только водку пили...

Подуруев. А вот в том и дело, что трезвую мораль проповедуют!

Бурилин. Нет, господа, противнее всего, что и у нас, в музыкальном мире тоже завелись скептики и высокоумные критики. Мерзость, кричат, ваш Вагнер, гнилой романтизм, глупые бредни, бездарные ходули! Ворует он, походя ворует! У кого же, спрашиваю, позвольте узнать? А вот хоть бы у Вебера. Хваленый марш из «Тангейзера» есть не что иное как перековерканный веберовский мотив из «Волшебного стрелка»... Ну, скажите на милость, есть ли что-нибудь общее по тону, по движению, по идее, между этой фразой (*поет*) и этой (*поет*)! Ведь надо, чтоб уши были заложены навозом для такой колоссальной наглости и клеветы! И кто же эти критики? Кретины, идиоты!.. Знаете вы братьев Трусовых, спрашивает меня на днях один знакомый? Знаю. Который, говорит, из них музыкальные критики пишет? Отвечаю: они все четверо пишут. Кажется, это самый высокий из них? Они все, говорю, с коломенскую версту. Стеклышко который в глазу носит? Они все со стеклышком. Глупый такой? Да они все глупые! Так и не могли мы столкнуться!^{21}

Подуруев. Ха, ха! Недурно!

Кленин. Да, братцы, настало время вражды и ехидства! Вот сейчас мы толковали об Элеонском. Милейший наш философ того мнения, чтобы его привлечь сюда. Милости просим, если уживется с нашим законом; но компромиссов нам не делать с рассудочной язвой! Чего нам не достает! Я, слава Богу, теперь окреп и ожил в вашем кружке, обещаю работать за десятерых! Всякий молодой талант пригрею сердцем, много страдавшим на своем веку. Философская мысль нашла даровитого жреца вот в нем (*указывает на Сахарова*), искусство живет в вас, Бурилин и Караваев, муза и игривый смех в беспардонном Подуруеве. Без злобы к человеку, без пощады к сатанинской гордости лжеучителей – вот наш лозунг! Пускай он скажется словами поэта:

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,
Мы в жизнь вошли с неробкою душой,
С желаньем истины, добра желаньем,
С любовью, с поэтической мечтой!^{22}

Звонок.

Подуруев. Гости! Это, наверно, Гудзенко с Элеонским. (*Идет отворять.*)

Сахаров. Ты уж, Виктор, с ним помягче...

Кленин. Не упрашивай, душа моя, разве я зверь какой?

Караваев (*строит гримасу*). Водку сильно пьет!

Все смеются.

Гудзенко (с акцентом). Представляю тебе, Кленин, и прошу любить да жаловать: Элеонский Григорий Семеныч.

Элеонский молча подает руку **Кленину** и кланяется остальным.

Кленин. Душевно рад! Вот вся наша семья: Сахаров, Подуруев, Караваев, Бурилин.

Бурилин. В Петербурге живешь годами, бываешь, кажется, в разных кружках, а никак не столкнешься!

Элеонский. Да-с.

Кленин. В том-то и беда, что нет никакого центра, где бы могли сходиться люди всяких оттенков^{23}.

Элеонский. Какая же в этом беда?

Кленин. Как же, помилуйте. Отчего же общий раздор, безобразная полемика, сплетничество?

Элеонский. Сплетничать будут во веки веков. Есть салоппицы^{24} в каждом звании, и в писательском тоже...

Сахаров. Однако, если б был общий центр...

Элеонский. Только пуще ругались бы, вот и все. Ведь не оттого друг друга колошматют, что не встречаются, а оттого, что ненавидят друг друга. Дело понятное.

Кленин. Поверьте, половина вражды от недоразумений, от задора, от невежества!

Элеонский. Не знаю-с. Нужно себя великим мудрецом объявить для того, чтобы распознать, в чем вся суть заключается. По-моему, не в пример проще рассудить так: тот, кто шкуру свою подставляет, кто выезжает не на миндальностях одних, да на музах, видит, что ему ни от кого подспорья не ждать окромя себя. Вот такие-то люди сами себе проложили дорогу, им и идти по ней; а кто не за них, того, известно, надо отшпандорить-с, хе, хе!

Кленин. Позвольте, вы очень ошибаетесь! Вы убеждены, что так называемые новые люди^{25} никому не обязаны своим развитием?

Элеонский. Кто же, скажите на милость, радел для них?

Кленин. Да хоть бы мы.

Элеонский. То есть, как же это вы и кто это вы?

Кленин. Мы – люди сороковых годов^{26}. Я знаю, про нас кричат, что мы дрянь, невежды, обскуранты, что мы до сих пор пережевываем свой туманный пантеизм, что мы не способны ни на какой гражданский подвиг. А задался ли кто-нибудь из новых людей вопросом, откуда они самим-то вышли, какая почва воспитала их?

Элеонский. Есть над чем голову ломать.

Кленин. Так вы полагаете, что целое направление может *так*, в один прекрасный день свалиться с неба? Никому не позволено клеветать на жизненную правду, господин Элеонский, ни старым, ни новым людям. Чтобы вы стали делать теперь, куда пошли бы, если б не задеты были в обществе великие вопросы мышления и человечности. А кто выступил в борьбу за гуманный принцип? Кто выяснил мучительным сознанием все то, что теперь сделалось ходячей монетой? Кто научил общество думать и искать своих идеалов? Кто, наконец, поднял знамя критики, без которой немислимо никакое движение ни в сфере искусства, ни в философии, ни в политике? Кто все это сделал, спрашиваю я вас? И с

гордостью отвечаю: мы, мы – гнилые пантеисты, мы тупоумные глупцы и дрянные пошляки, мы – мистики и обскуранты!..^{27}

Подуруев и Бурилин. Bravo, Виктор! Правда, правда!

Гудзенко. Ну, Кленин, уж ты начнешь сейчас свою философию... Об этом что спорить. Нехай каждый своим законом живет.

Сахаров (*тихо*). Оставь его, видишь, он совсем плох по части диалектики.

Элеонский. Слов вы много насказали, да только связи-то в них мало.

Кленин. Как мало?

Элеонский. Дайте мне кончить. Нехитрая штука понять, что кто на свет пораньше явится, тот кое-что приготовит для своих потомков. Прежде из ружей не стреляли, а выдумали порох – начали палить! Ха, ха, ха! Вы, быть может, и бились из-за чего-нибудь, да нам этого не надо-с. Для нас важно то, что есть, а не то, что было. Коли вы приготовили нам почву, коли вы все разжевали, только в рот клади да глотай знай, отчего так случилось, что мы друг друга не разумеем! По-русски ерунда выходит.

Кленин. Кто же начал вражду?

Элеонский. Да кто бы не начинал. Возьмите к примеру, что мы с вами в одном законе состоим. Я, не разобравши в чем дело, задеру вас. Почнем мы ругаться. Поругаемся малую толику, но коли у нас есть хоть плохонькие мозги, мы догадаемся, что попусту разорались! А тут совсем иная статья-с...

Кленин (*горячо*). Однако позвольте-с, движение философской мысли...

Элеонский (*перебивает*). Вы меня, пожалуйста, словами не закидывайте. Я человек простой, малограмотный, немецких книжек и всяких ваших Гегелей не читал^{28}. Я своей смекалкой вижу, что вокруг меня творится, а что вижу, то и говорю.

Кленин. В ком же сила-то? Неужели в одних новых людях?

Элеонский. В старых-с, в старых-с, это бесприменно.

Кленин. Боже милосердный! Вы беллетрист, господин Элеонский, художник!.. Ну скажите мне по душе, разве вы можете вставить себя в рамку пошлой рассудочности? Разве вы не рветесь на каждом шагу в бесконечную область прекрасного, которое, поверьте, существует помимо всех наших журнальных дрызг!

Элеонский. Рваться? В какие такие области? Мало, что ли, разных мерзостей, на каждом шагу, куда не взглянешь! Мы исковерканы, мы забиты, человеку пить-есть нечего – вот об этом следует писать, а не об идеалах ваших. (*Одушевляется.*) Стыд и срам тому, подлеца ему надо загнуть, кто теперь размазывает эти ваши хваленые идеалы!.. Вы меня спрашиваете, как могу я, беллетрист, ужиться с теми, кто вашего искусства в грош не ставит? Как я уживаюсь – это мое дело, но мне гадко, омерзительно видеть, что есть у нас такие ученые и многоумные литераторы, которые воспевают птичек да вакханок, а в критике про какую-то почву да про веяния расписывают^{29}, а тут у них под боком тьма кромешная и червь неусыпающий, и голод, и побои, и грабеж! Что за нужда, пушай гибнет, паршивый бурсак, пушай вязнет в тине всякий русский пролетарий и допивает в кабаке свой последний ржавый грош! Мы зато сочиняем статьи о народных началах, мы разбираем тонкости богатырского эпоса, мы распинаемся за наитие и разную чепуху, мы несемся, как птицы небесные, в обитель идеала! Ха, ха, ха!.. Славно, господа, подбавьте еще пару, неситесь выше, выше, да уж так, чтобы вдруг с размаху-то шлепнуться половчее об голыши! Вам не больно будет, ведь вы никогда не жили по-людски! У вас вместо плоти и крови одни

кое что приготовить для своих потопков. Преждем
ружкѣй не стрѣляли; а выдучили пороха — какали на
мить! Ха, ха, ха! Вы, быть можетъ, и бились и въ за-
чело и въ бѣду; да ками этого не кадо-сь. Для насъ важно
то, что есть, а не то, что было. Коли вы приготвили
ками похву; коли вы все разжевали, только въ ротъ
кладу, да елотай знай; отжего такъ случилось, что
мы другъ друга не разумелись! По русски, ерунда вы-
ходитъ.

Клементъ. Кто же какали вражду?

Демонскій. Да кто-бы ни какали. Кослите къ
примеру, кто мы съ вами въ одномъ законѣ состо-
имъ. Я, не разобравши въ камъ друго, сагеру вака. Ко-
ками мы ругались. Поругались маучю толку, но
коли у насъ есть хоть плохонькіе мочи, мы дога-
даемъ, что попусту разгорались! А тутъ совсѣмъ
иная статья-сь...

Клементъ. | горало | ~~Одного позволите-сь, движение фи-
лософской мысли.~~

Звонок.

Подуруев (суетливо). Это Погорелов!

Кленин (*вскакивает*). Я не могу оставить без ответа вашу тираду... вы слишком задели...

Сахаров. Виктор, надо же встретить гостя...

Кленин. Я сейчас к вашим услугам. (*Торопливо идет к двери.*)

Элеонский. Кто это приехал, генерал, что ли, какой?

Сахаров. Виктор Петрович ждет Погорелова.

Элеонский. Ну, значит, я угадал. Особа высокого полета. (*Отводит Гудзенко в сторону.*) Это видно зазывание перед подпиской?

Гудзенко. Вы уж больно наших прожгли, они хорошие люди, этак зачем же...

Элеонский. Хохол вы мягкосердый, вы-то что около них вертитесь, плюньте вы на эту компанию.

Бурилин (*вполголоса*). Стоило приводить звонаря косматого. Шабаш нигилистический!

Подуруев. Ничего не поделаешь, потому сила!

Караваев (*делает гримасу*). Водку сильно пьет.

Все смеются.

IV

Погорелов, одет по-бальному^{30}, за ним **Кленин**.

Погорелов. Я насилу отыскал дом. Давно вы здесь поселились?

Кленин (*немного сконфуженный*). Нет, на днях, обзавожусь только... Позвольте, Александр Иваныч, представить вам друзей моих: магистр Сахаров, Бурилин композитор, Подуруев – наш молодой талант... Он желал бы подвергнуть вашей высокой оценке одну вещицу... Караваев, Гудзенко...

Погорелов (*делает общий поклон*). Весьма рад, господа...

Кленин (*обращаясь к Элеонскому*). Вы знакомы?

Элеонский. Нет-с.

Кленин. Господин Элеонский, сотрудник журнала «Прогресс».

Погорелов. Очень приятно. (*Точно вспоминая.*) А, господин Элеонский, я читал вашу вещь, мне говорили об вас... Теплая вещь, милые пейзажи, очень милые пейзажи... Поздравляю. Вы выступили удачно...

Элеонский. Как умел-с. (*Отходит.*)

Кленин. Присядьте, Александр Иваныч, пригрейте нашу немногочленную семью... вы такой дорогой гость, что не пользоваться этим грешно. Вот Подуруев, наш юный поэт... желал бы прочесть вам одно стихотворение. Вещица с колоритом... из античного мира.

Подуруев. Александру Иванычу может быть совсем неохота слушать мое стихотворение.

Погорелов. Отчего же... (*Смотрит на часы.*) Только, любезный Кленин... я немножко тороплюсь... Не мог отделаться от приглашения. Нужно ехать к одной барыне... и, главное (*улыбается*), нужно непременно быть остроумным... а ведь вы знаете, что это русскому литератору нелегко...

Кленин. Будете читать что-нибудь? Барыни, значит, счастливее нас.

Погорелов. У меня нет ничего конченого... да я теперь почти закаялся... {31} (*Общая пауза.*) Вы занимались когда-нибудь буддизмом? {32}

Кленин. Да, читал кое-что...

Погорелов. Не правда ли, какие прекрасные мифы... я в восхищении... Нечто грандиозное... напр<имер>, хоть бы это представление всеуничтожаемости... в виде радуги... эти бесчисленные пузырьки лопающихся индивидуальных жизней... {33} Весьма грандиозно!.. (*Смотрит на часы и встает.*) Очень жалею, что не могу посидеть у вас, любезный Кленин.

Кленин. Как, уже покидаете нас, Александр Иванович? Чем же мы так провинились?

Погорелов. Ха, ха, скорее я провинился и жду наказания, скука будет смертная... Зайдите как-нибудь ко мне. Я до 12 всегда дома...

Кленин. Долго думаете пробыть в Петербурге?

Погорелов. С неделю еще... Прощайте, господа! (*Делает общий поклон и уходит. Кленин его провожает.*)

V

Элеонский. Ха, ха! (*Подходит к Сахарову.*) Как вы полагаете, сколько он времени перчатки напяливал?

Сахаров. Не знаю-с.

Элеонский. А в идеалы тоже, чай, верит?

Сахаров. Что же вы находите в нем странного?

Бурилин. Не всем же быть санкюлотами... {34}

Элеонский. Слышите, Гудзенко, какое благоухание пошло по всей комнате?

Гудзенко. Хорошо воняет.

Элеонский (*Подуруеву*). Вы утешьтесь, ведь сразу нельзя удостоиться чести продекламировать перед особой его литературного превосходительства.

Подуруев. Генерал – что и толковать!

Элеонский. Надо спросить мнения вашего друга господина Клеина. (*Караваеву.*) Вы, кажется, актер?

Караваев. Так точно.

Элеонский. Вместо того, чтоб мужиков да купцов нам коверкать, вы бы угостили нас вот таким экземплярчиком. Отменно выйдет, право!

Кленин (*возвращаясь из передней*). Уехал, не могу, говорит, остаться, больно уж барыня упрашивала!

Элеонский. Барыня-то, значит, пересилила ваши просьбы, господин Кленин!.. Что же вы не догадались, нам бы всем надо было на колени стать пред его превосходительством. Авось смилостивился бы! Ха, ха! Вот они, ваши идеалисты, чистые духом и помышлениями! Полюбуйтесь! Ему пора в салон, там, видите ли, запах другой, накурено духами, кресло покойное он себе насидел! Разные дуры в кружевах ахают от его медоточивых речей! И господа литераторы с такими пошляками заигрывают, приседают перед ними. Кланяются чуть не в ноги – соблаговоли, батюшка, сказать милостивое словечко, соблаговоли пожертвовать нам хоть две странички с твоим именем, на вес золота купим, только бы к

подписочке!

Кленин. Это уж слишком, господин Элеонский, я не знаю, на что вы злитесь!..

Бурилин. Погорелов похвалил вашу повесть, а вы ругаетесь.

Элеонский. Вот оно что!.. Кому, дескать, похвальный лист выдадим, того навеки осчастливим!.. *(Передразнивая.)* Продолжайте, господин Элеонский. У вас милые пейзажики есть!.. Милые пейзажики!.. Мы землю грызем с горя да с нужды, у нас живого места нет ни в сердце, ни в мозгу, мы кровью и желчью пишем, а господин Погорелов видит в этом милые пейзажики! Мы стонем и проклинаяем! А господин Погорелов одобряет нас за картиночки, да индейской философией потешается. Больно, видите ли, хорошо радуга суету мира изображает!..

Кленин. Мне жалко вас, господин Элеонский! Вы зашиблены тупой и безвыходной доктриной! Против чего ратуете вы, что проклинаяете, что громите? Знают ли про то даже те, от кого вы впервые научились вашему фанатическому жаргону? Спросите их! Только вряд ли у них хватит честности, чтобы поведать вам свое круглое невежество и свою сатанинскую гордость!

Элеонский. Не знаю, кого жалеть – меня или вас, господа! Я неграмотный бурсак, мне, значит, такая уж линия выпала: пресмыкаться в грязи и лжи окаянной; но я, по крайности, рад тому, что привелось мне самолично распознать, что такое петербургские идеалисты и прекраснлюбцы!.. Я начистоту вам отрежу, у вас был такой умысел: посмотрим, дескать, мы этого дикого зверя. Коли он в меру брыкается, так нельзя ли его приласкать да прикормить, чтобы он на нашу лавочку работал! А то из-за чего же биться! Какая вам во мне сласть, скажите на милость. Ан, штука-то вышла жалостная! Я своим глупым умишком мекаю, что вы, господа, не в пример больше моего обличье свое показали: выложили всю суть своей слащавой гуманности! Благодарим покорно и за это. С изуверами, господин Кленин, я могу ужиться, потому что они простые люди, как и я же грешный, а из вашей благоухающей обители я бегом убегу, да не вернусь в нее и тогда, когда мне придется без хлеба по целым дням сидеть! Зачем вам таких безобразников, как наш брат скорбный бурсак! Вы уж лучше пред господином Погореловым лишний разок потанцуйте!

Гудзенко. Полноте, Элеонский, что это в самом деле, господа, за напасть такая! Как сойдутся, сейчас ругаются! Что мы, дикие звери, что ли?

Кленин. Дикие, Гудзенко, хуже диких. Те, по крайней мере, грызутся, когда голодны, а мы – походя!.. Но спроси ты у господина Элеонского, на чьей стороне больше задору? Хватит ли у него настолько добросовестности, чтобы сказать: я, как новый человек, пришел обругать дряблых романтиков и показать им всю мерзость их обскурантизма!

Элеонский. Я бы ни за что не пошел к вам, господин Кленин, если уже желаете знать правду! Гудзенко две недели приставал ко мне, чтоб я познакомился с его приятелями. Спросите его, коли не верите. Ну вот и познакомились! А разбирать, кто кого задирает первый, я совсем не желаю! Это только школьники да нищие старушонки промежду собою так перекоряются.

Подуруев. Господа! Я требую слова!.. Что может положить конец сим бесплодным прениям? Я торжественно вас спрашиваю и торжественно же отвечаю: виноградное вино, именуемое хересом!

Караваяев. Очень прекрасно.

Гудзенко. Известно, лучше выпить!

Бурилин (*сквозь зубы*). Чем слушать семинарское вранье!

Подуруев. Дай же мне докончить! Предвидя истечение бурных словесных потоков из уст двух литературных бойцов, я заблаговременно озаботился о снабжении сего сонмища потребным количеством живительной влаги, которую и предлагаю вашему благосклонному вниманию вместе с гекзамером величайшего из поэтов российских:

Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай!

Что скажешь, Виктор? Похвали меня за то, что я возжелал сочетать две стихии, пьяную и трезвую! (*Сахарову.*) И ты, мудрец, положи свое одобрение.

Сахаров. Одобряю. Другого исхода, кажется, не предвидится.

Подуруев. Отобравши мнение старейшин, в одно мгновение ока, как мифический Ганимед^{35}, обнесу вас амброзией, получаемой в погребе Фохта^{36} за целковый рубль! (*Убегает.*)

Кленин. У Подуруева есть жар художника! Желал бы я, господин Элеонский, смягчить хоть стаканом вина горечь нашей первой полемической вспышки! Верьте, что мы люди, испившие чашу разъедающей борьбы, способны отозваться добрым движением даже на презрительное высокомерие новых людей, если видим в них священный огонь разума и энергии!

Подуруев (*возвращается с бутылками*). Эван, эвое!.. Да здравствует Фохт и литературная терпимость!.. Господа, придвиньтесь, тесней, подставляйте ваши стаканы! Кто боится хересов, может пробавляться пивом Крона^{37}, напоившим струею остроумия российские карикатурные журналы! Позвольте чокнуться с вами, Элеонский!

Элеонский. Отчего не чокнуться! Давно бы вы позаботились, Подуруев. На одной матери-сивухе может сойтись русский человек с лютым врагом своим.

Подуруев. А вы разве желаете хлебного?

Элеонский. Все равно! Я всякое употребляю.

Гудзенко. Ну, слава Богу! Хоть на минутку отпустите душу на покаяние!..

Кленин. Так должно быть, Гудзенко! Кто много страдал, на того под конец все накинута...

Сахаров. Святая истина!

Подуруев. Яко на царя зверей в басне Крылова.

Караваев. Всякая, значит, животина.

Бурилин. И чистая, и нечистая!

Элеонский (*выпив залпом стакан*). Да, господа, и осел с долгими ушами. Помню я эту притчу! Значит, осел-то я?^{38}

Кленин. Помилуйте!

Сахаров. Что вы!

Бурилин (*Караваеву*). Насилу-то догадался!

Подуруев. Это малянтандю!^{39} Выпейте-ка! (*Наливает ему.*)

Элеонский (*еще выпив*). Что ж, ничего, не бойтесь, господа, я не обижаюсь!.. На дуэль не вызову, я человек штатский!.. Только дайте мне сочинить нравоучение, я его больше

изготовлю в презент господину Кленину.

Гудзенко (*дергая его за руку*). Полноте, Элеонский... опять вы!

Кленин. Оставь, Гудзенко, пускай господин Элеонский говорит, что ему угодно.

Элеонский. А вот что мне угодно! Вы изволили на своем поэтическом наречии выразиться: кто много страдал... И еще раньше: мы, испившие чашу разъедающей борьбы... Так, кажется, или нет?

Кленин. Так... Что ж из этого?

Элеонский. Я нарочно переспрашиваю. А то после скажут, пожалуй, что вот пришел безобразный кутейник и так напился, что перевирал даже изречения своих вдохновенных собеседников! Вы, господин Кленин, и в лице вашем люди сороковых годов испили чашу разъедающей борьбы! Прекрасно! И вы с этим носитесь как... (*останавливается*) есть такая поговорка, да я ее не вставлю, хоть меня и сравнили с долгоухим ослом! Смотрите, дескать, на нас, мальчишки, и проникайтесь святым благоговением... Мы испили чашу страданий, мы отмечены божественным перстом, мы вынесли роковую борьбу!.. Треску-то, грому-то, бенгалики-то сколько – страсть! Вы меня экзаменовали, господин Кленин, позвольте и вам задать вопросец? Какие это страдания? Что за борьба? Где эти невиданные подвиги? Под какими терзаниями падали вы, святые мученики? Я, коли хотите отвечу за вас, господин Кленин! Читали вы немецкие книжки, а по французским развратничали. Когда собирались промежду собою, клубничные акrostихи писали, шепотом либеральничали, да на крестьянский оброк ездили за море проливать слезы умиления перед Сикстинской Мадонной! Вот ваше времяпровождение, вот ваши подвиги! А теперь разберем и роковую борьбу. Развивать вы больно любили женский пол насчет идеалов? Восстанавливать, значит, из бездны падения! Вот и нарвется из вас кто-нибудь на бабенку. Поминдальничает с ней, а потом и втюрится в нее пухлой душонкой. Разумеется, через годик он ей надоест, как солодковый корень. (*Смотрит на Кленина пристально.*) Она его и бросит, и пойдет направо и налево блудить! Он же ее приучил к халатной жизни! Сбежала бабенка – идеалист запил. Вот вам и вся роковая борьба! Так или нет, господин Кленин?.. [{40}](#)

Кленин (*бледнеет*). А если б и так, господин Элеонский?.. Продолжайте, продолжайте! Начавши глумлением, вы кончите, быть может, правдой!..

Элеонский. Разве я выдумываю? (*Наклоняется к нему через стол.*) Я у вас первый раз в жизни, и на портретах вас никогда не видал, а судьбу вашу как по писанному читаю.

Кленин. Почему это – мою именно?

Элеонский. А вы разве отказываетесь от такой чести?

Кленин. Я вас не понимаю.

Элеонский. Будто бы! Небось, понимаете... Бабенка, медного гроша не стоящая – вот ваша роковая судьба, господа! И это борцы, мученики, титаны!.. Раскиснут на Гегеле [{41}](#), да потом и падают несчастными жертвами от какой-нибудь любвишки!..

Кленин (*встает*). Довольно, довольно, господин Элеонский, ни слова больше! Это не цинизм даже, это, это...

Элеонский. Что вы испугались! Разве я ваши тайны рассказывать стану! Очень мне нужно! Мы не бойцы, не мученики, не титаны, такую дрянью не занимаемся. Уж если мы запьем, так не от бабенки, ха, ха... Поучение кончено. Прощайте, господа, другой раз, небось, не будете зазывать к себе на смотрины безобразного бурсака... (*Встает и идет к двери.*)

Кленин (*догоняя его, порывисто отводит к двери*). Если вы честный человек, вы не уйдете так!

Элеонский. А что еще?

Кленин. О какой женщине говорили вы?

Элеонский. Я почему знаю!

Кленин. Вы лжете, вы знаете ее!

Элеонский. Все чай меньше вас...

Кленин. Я вас заклинаю сказать мне, где она, как вы столкнулись с ней?

Элеонский. Как?.. Известно, как!..

Кленин. Где, где, я вас спрашиваю!

Элеонский. Навестить желаете? Пейзажик выйдет хоть куда!

Кленин. Ни слова больше... Номер дома?

Элеонский. Небось сами найдете! Ха, ха!.. Идеалист! Мученик!.. Я, пожалуй, сведу!..

Кленин (*отшатнувшись*). Ступайте, ступайте!..

Элеонский (*в дверях*). Прощайте, Гудзенко!.. Спасибо за угощение! (*Уходит.*)

VI

Кленин идет к той половине стола, где сидит **Сахаров**. Все остальные накидываются на **Гудзенко**.

Бурилин. Что вы, Гудзенко, с ума, что ли, сошли, приводить такого осла?!

Подуруев. Это у тебя душа-человек?.. Хорош!

Караваяев. Эге, хлопче, який глупый парубок!..

Бурилин. Кто вас просил? Что это за манера тащить всякую шваль, точно в харчевню!

Гудзенко. Да что вы на меня накинулись, господа! Сами же просили!

Бурилин. Кто просил?

Гудзенко. Сахаров первый, Подуруев второй.

Бурилин. После этого всякий безобразник с улицы вломится, да и ошельмует всех!

Гудзенко. Ну вас к бису!..

Кленин (*в сторону Сахарову глухим голосом*). Слышал ты?

Сахаров. Что?

Кленин. Ничего! (*Выпивает залпом стакан.*)

Подуруев. Накатить хохла пивом за это, до оскудения сил!

Гудзенко. Эк орут как! Ведь не с вами ругался Элеонский. Уж кому серчать, так Кленину, он пускай и говорит!

Подуруев. Виктор, что ты притих вдруг! Или ошеломило так, что язык прильпе [{42}](#) к гортани?

Подходит к нему вместе с остальными.

Кленин (*наливает новый стакан*). Да, ошеломило! (*Вдруг встает.*) Давайте, братцы, пить!

Подуруев. Вот хватился! Мы точно не пили!

Сахаров. Да что с тобой, Виктор?

Бурилин. Как что с ним! Такой остолоп всякого огорошит!

Подуруев. Хохол, пей пиво и молчи!.. В наказание будь нем аки рыба!

Кленин. Пить надо!.. Извините, братцы, я задумался немного! После такой словесной перепалки отдадимся другим чувствам! Другим разговорам!

Подуруев (*пьянея*). Нет, ты мне скажи, Виктор, про что это нигилист толковал, про какую бабенку?.. Что за притча такая?.. У тебя точно будто кончик носа дрогнул!

Сахаров (*смотря на Кленина*). Глупости все, Подуруев! Довольно об этом!

Подуруев. Нет, душа моя, Виктор, откройся нам, что это за экивоки подпускал новый человек? Ведь мы друзья твои, закадыки твои самые горькие. (*Лезет к нему.*)

Кленин. Не знаю.

Подуруев. Нет, ты послушай, это ведь обидно. Как же вдруг неотесанная семинария смеет позорить гуманистов? Вы страдали, вы боролись, у вас идеалы и все такое, а он взял да наплевал!.. Я не стерплю!.. Ты должен нам открыться!.. Он знает всю суть и издевается над тобой, а мы ничего не знаем? Обидно это для меня, Виктор! Или в самом деле вы умели только хныкать, разводы разводить?

Кленин. Ты думаешь?.. (*Пьет.*) Да отчего и не поверить!.. Где у нас оправдание, где у нас силы?..

Гудзенко. Вот вы небось опять загалдели и без Элеонского.

Караваяев. Потому ничего не поделаешь, больно уж очень разбередил.

Кленин (*Подуруеву*). Ты веришь новым людям? Ты веришь им? (*Берет его порывисто за руки.*)

Подуруев. Ничего я не верю! А обидно, Виктор, воля твоя! Как же это вдруг он тебе такую экивоку загнул?.. Я бы не стерпел, ей-богу, не стерпел бы!.. Бабенка, говорит, у вашего брата заведется, вы, говорит, втюритесь в нее своей пухлой душонкой, а потом она сбежит от вас, вы и запили, и раскисли! Вот и вся ваша борьба!.. Разве это не обидно, Виктор!..

Кленин (*во время слов Подуруева он выпил еще стакан вина и совершенно изменился в лице*). Обидно ли это? Не знаю, как кому! Мы должны терпеть!..

Сахаров. Я виноват, Виктор, я особенно желал привлечь к нам Элеонского. Теперь убеждаюсь, что это невозможно!

Бурилин. Черт с ними!.. Виктор дело говорил, как мы пришли: к чему набирать лишнего народу, когда свои есть!.. Он теперь только похваляться будет, что обругал, дескать, я всю братию, что ни на есть хуже!.. Я тоже скажу, Виктор, что и Подуруев: как можно было его так выпустить?.. Раскостить его на все корки!..

Караваяев (*старческим голосом*). Следовало. Как же это – мальчишка, и никакой субординации! И что это начальство смотрит!..

Подуруев. В том-то и беда, братцы, что Виктор совсем раскис!.. Да еще и пошел шептаться с ним в угол. Ведь ты нас всех обижаешь, Виктор!

Сахаров. Как ты несносен, Подуруев, затвердил одно и то же, мало ли что у человека на душе есть...

Подуруев. Нет, шептаться-то зачем с бурсаком! Ведь он тебя ругательски обругал... Как же теперь все это объяснить, скажи ты на милость! Об чем ты с ним шептался? Голубчик, откройся нам!..

Кленин (*встает*). Об чем я шептался? Смотрите на меня... господа, перед вами

жалкий, презренный идеалист... Смотрите, я развалина в сорок лет; смотрите, как болото все засасывает меня вглубь... Вы думаете, я спятил? Нет, я в полном рассудке... Нет спасения, нет, нет и нет!.. (*Опускается вдруг на стол.*) Ты замечтался, презренный романтик^{43}, ты думал, что искус твой кончен: работай, живи с друзьями, радуйся на их молодость, на их смех и порывы!.. И вот приходит человек с улицы, *новый* человек, и говорит тебе с цинизмом скомороха: знаем мы про твою борьбу... бабенка загубила тебя!.. Циник одним словом вывернул всю глущь язвы... и опять пропасть раскрылась, и я там, на дне омута! (*Подуруеву.*) Дай вина!..

Сахаров. Полно, Виктор, ты расстроен... ты довольно пил.

Кленин. Довольно? Ха, ха, ха! Куда ж мне деться?.. Пить, пить надо! Братцы, не ходите по стопам нашим, бросьте верования, издевайтесь, ругайте, плюйте на нас юродивых... «Поучение кончено!» Помните эти слова бурсака? Они горят у меня в ушах! Вы не знаете глущей повести о том, как пухлая душонка идеалиста может отдаться женщине – нет, бабенке! Да, глущей, пошлой бабе! Почему мы не титаны?! Как мы могли падать, обливаясь слезами и благословляя источник наших страданий! Вот наша вина!.. Расказнитъ нас за это, подлецов! Но зачем я все это говорю вам? Кто это *мы*? Не мы, а я, я, тряпка, пьянчужка-ерыга!.. Хотите, чтоб я вам расписал чувствительную историю про Адольфа и Амалию? Братцы, не добивайте меня, не заставляйте теперь, когда я пьянею, пресмыкаться перед вами в прежней грязи! Вам не спасти меня!.. (*Выходит из-за стола.*)

Сахаров. Куда ты, Виктор?

Подуруев. Эк расходился, я ведь не всурьез тебя задевал!

Кленин (*Гудзенко*). Где живет этот Элеонский?

Гудзенко. Я не знаю... Он ко мне зашел!

Кленин. Я иду пить, и его приглашу – да, и ему, этому новому человеку, я расскажу глущую историю про бабенку такими словами, что циник будет со мной плакать навзрыд... Идем, Гудзенко!

Гудзенко. Полно! Я право не знаю!.. Куда! Теперь первый час ночи!

Сахаров. Успокойся, Виктор!

Подуруев (*Бурилину*). Ну, теперь закатится! Прорвало!

Караваяев. Что ты?

Подуруев. Верно!

Кленин. Вот твоя обитель, жалкий романтик! Пьяный бред, пьяный крик, пьяный сон!.. Да здравствуют циники и новые люди!.. Я иду ратовать за их начала! Идем, Гудзенко! (*Вдруг останавливается.*) Подуруев!

Подуруев. Что?

Кленин. Вина ведь нет?

Подуруев. Нет, душа моя!

Кленин. Попрошу у циников! (*Тащит Гудзенко.*) Ты, хохол, веди меня!.. (*Останавливается в дверях.*) Братцы, я рыдать не буду, я буду пить!.. Пейте и вы! Мертвые бо срама не имеют!^{44} (*Увлекает Гудзенко.*)

Актъ второй

Сцена 1^я

Дѣйствующіе:

Элеонскій.

Левинштрауцъ, мѣлкій литераторъ. Поурочевъ.

Шебцевъ.

Звѣдильникъ.

} Студенты.

Мушботинъ, отставной офицеръ.

Алкидина, занимается химіей.

Квасова, наборщица.

Страндина, переписчица.

Красихина, переводчица.

Категорійскій, корректоръ.

(Дѣйствіе въ квартирѣ Шебцева. Студенческая комна-
та въ большой бѣлорядкѣ. Вечеръ.)

Элеонский.

Левенштраух, мелкий литератор.

Шебуев, **Звездили** – студенты.

Тумботин, отставной офицер.

Алкидина, занимается химией.

Квасова, наборщица.

Страндина, переплетчица^{45}.

Красихина, переводчица.

Категорийский, корректор.

Действие в квартире **Шебуева**. Студенческая комната в большом беспорядке.
Вечер.

I

Налево от зрителей **Шебуев**, **Звездили** и **Алкидина** сидят у ломберного стола и пьют чай. Направо **Тумботин** и **Элеонский** играют в карты. **Квасова** и **Страндина** посередине комнаты у самовара. Около них **Левенштраух**.

Шебуев. Квасова, налейте-ка мне еще стакан!

Квасова. С лимоном?

Шебуев. А то с чем же?

Квасова. Сейчас.

Элеонский (*за картами*). Четырнадцать десятков.

Тумботин. Плохи-с, мы припасли на сей конец женского полу.

Элеонский. Канальство!

Алкидина (*с жаром*). Нет, Звездили, Джон Стюарт Милль^{46} именно доказывает необходимость такого взгляда!

Звездили. Где вы это вычитали?

Алкидина. Как где вычитала? (*Обиженно.*) Я, кажется, по-английски знаю немножко!

Звездили. Да вы совсем не так понимаете утилитарную теорию!..^{47}

Алкидина. Вот тебе раз! Как же, по-вашему, следует ее понимать?

Шебуев. Ты что споришь, Звездили... сам, я думаю, без году неделю узнал, что такое за утилитарная теория... Квасова, чайку-то!

Квасова. Сейчас, не настоялся...

Левенштраух (*Страндиной*). Как же это можно... с вашим хорошеньким личиком и так рассуждать.

Страндина. Что вы пошлости-то говорите.

Левенштраух. Какие же пошлости!.. Совсем же я не пошлости говорю... я когда смотрю на ваши глазки...

Страндина. Алкидина! Шебуев! Прогоните от меня Левенштрауха! Он мне смертельно надоел! Все миндальничает!

Левенштраух. Помилуйте... с вами нельзя как с хорошенькой девушкой разговаривать!.. Это же странно, очень странно...

Страндина. Если я и хорошенькая, так не вам это разбирать!..

Шебуев. Ха, ха, ха!.. Левенштраух... Отчаливай, значит!..

Левенштраух (*отходит к играющим*). Самый глупый тон на себя напускают!

Алкидина. Что вы сказали?

Левенштраух. Ничего-с.

Шебуев. Остроумно!

Алкидина (*продолжая разговор*). Вы сами не знаете, против чего спорите. Я говорю, кажется, ясно: что полезнее для ребенка – выучить одно слово на пяти языках и получить, стало быть, одно только умственное представление... или в это же самое время...

Квасова (*подходит с чаем*). Вот вам, Шебуев, стакан, а вы, Алкидина, хотите еще?

Алкидина. Ах, не перебивайте... Чаю?.. Пожалуй, мне все равно... Я потеряла вот нить мысли.

Квасова. Ха, ха, найдете. (*Отходит.*)

Звездилин. Ну что же из этого? Ну одно представление!

Алкидина. Ах, постойте, я потеряла нить... да, да... вот что я хотела сказать. В тоже самое время учите вы ребенка одному языку: вы успеете познакомить его с пятью разными словами, то есть дадите ему пять разных умственных представлений.

Звездилин. А потом?

Алкидина. Как потом?

Звездилин. Потом что же-с, я вас спрашиваю?

Алкидина. Больше ничего: да ведь у него будет пять умственных представлений!

Звездилин. Что вы мне наладили: пять умственных представлений!

Алкидина. С вами совсем спорить нельзя, вы об этом понятия не имеете. Милль в своей «Логике»^{48} именно говорит...

Шебуев. Да он в нее и не заглядывал. Что вы надрываетесь, Алкидина!

Алкидина. Этак мужчины всегда! Бездоказательно и генеральским тоном!..

Тумботин (*за картами*). Извольте хвалиться?

Элеонский. Да хвалиться-то, батюшка, нечем, шесть карт.

Тумботин. Хороши-с...

Элеонский. Кварт-мажор!

Квасова (*подходя к Элеонскому*). Вы совсем не пьете чаю!

Элеонский. Да вот Тумботин больно уж одолевает.

Квасова. Не беда: несчастливы в картах... в чем другом может счастливы?..

Алкидина. Фи, Квасова! С какого это вы конфетного билетика списали?..

Тумботин. Жантильничать^{49} не следует, госпожа Квасова.

Квасова (*сконфузившись*). Виновата, провралась... вперед не буду. (*Элеонскому.*) Что же вы на меня не накинулись, уж подряд бы.

Элеонский. Я не слыхал хорошенько, что вы сказали.

Квасова. Ну и прекрасно... Играйте, я вам налью чаю!

Элеонский. Благодарю. (*Квасова отходит.*)

Квасова (*Страндиной.*) Вот, Страндина, меня и уличили в глупости...

Страндина. А что?

Квасова. Да ты разве не слыхала?

Страндина. На всякий чих не наздравствуешься.

Квасова (*наливая чай*). Видишь, около нас никого нет... Оттого, что мы с тобой неученые.

Страндина. Будто?

Квасова. А то отчего же? Мне сегодня метранпаж^{50} в типографии говорит: вам, госпожа Квасова, не достает цивилизации... ха, ха... он у нас вот какой.

Страндина. Ха, ха! Это мило!

Квасова. Ученый, Бокля читал! Я его ужасно боюсь. Вчера он подходит к моему реалу^{51}, тычет мне в нос оригинал и преважно так: нате, госпожа Квасова, да займитесь хорошенько! Не детскую книжку будете набирать, а ученую статью-с. Я так и присела, а все потому, что цивилизации у меня нет.

Страндина. У кого же она цивилизация-то, у Левенштрауха, что ли?

Квасова. Да вот и он к нам нейдет!

Страндина. Я его сама отогнала. Коли хочешь, я позову Левенштрауха.

Левенштраух (*Страндиной.*) А вы же меня звали?

Страндина. И не думала, проваливайте.

Левенштраух. А что же это за мальчишество.

Страндина. По-русски не умеете говорить: мы девушки, мальчишничать не можем.

Левенштраух. Это черт знает, что такое! (*Отходит и присаживается к Тумботину.*)

Квасова. Что ты его как!

Страндина. Надоел хуже горькой редьки!..

Квасова. Мы с тобой чаю-то еще хорошенько не пили.

Страндина. Давай!

Левенштраух (*Тумботину*). А что же теперь пишете?

Тумботин. Побасенки!

Левенштраух. Как же побасенки?

Тумботин. Да так же. Шесть и шестнадцать, двадцать два, терц-мажор, двадцать пять, мой ход... (*Считает вслух взятки.*)

Левенштраух. Нет, я же теперь занят Леви-бен-Джерсоном^{52}.

Элеонский. Чем?

Левенштраух. Леви-бен-Джерсоном, великим мыслителем...

Тумботин. Что за птица?

Левенштраух. Как же это не знать... Леви-бен-Джерсона... Это всякий образованный человек должен знать!.. Это, можно сказать, глава рационалистов.

Тумботин. Всякие есть рационалисты, любезнейший Левенштраух. Вот хотя бы к примеру: вы и Спиноза одной нации?

Левенштраух. Что же, я этим гордиться могу.

Тумботин. Ну и гордитесь на здоровье, это очень похвально, только вот что я хотел сказать: как вы думаете, есть маленькая разница для человечества, Спиноза делается рационалистом или господин Левенштраух?

Элеонский. Ха, ха!.. Что скажешь, Левенштраух?

Левенштраух. Это же совсем глупый вопрос, он нейдет к делу... я говорил, что всякому образованному человеку...

Элеонский (*перебивает*). Следует знать про твоего Маймунида^{53}. А я вот необразованный, поэтому не знаю и знать не хочу...

Алкидина (*с места*). Об чем идет речь?

Левенштраух. Об Леви-бен-Джерсоне.

Алкидина. Что это за зверь такой?

Звездилин. Из млекопитающих?

Шебуев. Или из земноводных?

Левенштраух. Я же, господа, не виноват, что вы так мало знаете историю философии. Всякий образованный человек постыдится сказать... Я же не слышал про Маймунида и слышать не хочу!^{54}..

Квасова. Вот мы никакой цивилизации не имеем, Левенштраух, просветите нас, пожалуйста.

Алкидина. Да кто такой был ваш бен-Джерсон? Раввин, что ли, какой? Так избавьте, пожалуйста, мы Талмуду поучаться не желаем.

Левенштраух. Это же очень странно. Вы кричите и не знаете, какой великий мыслитель был бен-Джерсон.

Элеонский. Да коли не хотят твоего Леви-бен-Джерсона!.. Что ты на стену-то лезешь?

Левенштраух. Не хотят, не хотят! Образованный человек должен...

Шебуев. Звездилин. Алкидина. (*Вместе.*) Шш!.. Не хотим слушать про Талмуд!

Квасова (*Левенштрауху*). Бедный, вас совсем заклевали, хотите чайку?

Левенштраух. Я выпью.

Страндина. И если осмелитесь отпустить мне хоть еще одну миндальность, сейчас же вон!

Левенштраух. Оставьте меня... я же с дикими женщинами не желаю говорить. (*Берет чай, отходит в угол и разворачивает книгу.*)

Левенитраухъ. Не хотятъ, не хотятъ! Образованный
человѣкъ: долженъ... ..

Шебуевъ

Звѣздичинъ

Алкидина

} *вмѣстѣ*

Мм!... не хотимъ слушать
про шамидѣ!

Квасова. [Левенитрауху] Благородный, васъ совсѣмъ закле-
вали, хотите чайку?

Левенитраухъ Я выпью.

Страндина. И если вы хотите отпустить меня
хоть еще одну миндальности, сейчасъ же вонь!

Левенитраухъ. Оставьте меня... Я же съ друзьями
шеницаками не желаю говорить [беретъ чай, отодвигаетъ въ
сторону и развѣрживаетъ крышку].

Алкидина. [с места] Элеонскій, правда ли что
васъ хотели заманить народники?

Элеонскій. Была игра!

Алкидина. И сильно вы ихъ отделали?

Элеонскій. До безчувствія! Главнаго-то ихъ начетчика
больно ужъ доехалъ. —

Алкидина (с места). Элеонский, правда ли, что вас хотели заманить народники?

Элеонский. Была игра!

Алкидина. И сильно вы их отделали?

Элеонский. До бесчувствия! Главного-то их начетчика больно уж доехал.

Шебуев (Алкидиной). Элеонский Дульцинею какую-то открыл. Она ему всякую штуку

порассказала про их критика-то, про Клеина.

Квасова (*прислушиваясь*). Какую Дульцинею?

Шебуев. В подробности не будем входить!..

Алкидина. Да и не интересно!.. Вы, Звездилин, опять сошли с настоящей точки зрения! Вы спорите недобросовестно, гадко! Возмутительно!

Звездилин. Вы что меня закидываете именами. Мозг человеческий действует у всех одинаково. Всякую мысль можно приравнять к сложению и вычитанию.

Алкидина. Это не вы сказали!.. Это Кондильяк ^{55} сто лет тому назад объявил. Вот вы сами хватаетесь за авторитеты!

Шебуев. Чайку дайте еще, Квасова!

Квасова. Вам после. (*Подносит стакан Элеонскому.*) Про какую это женщину Шебуев говорил?

Элеонский (*взглянувши на нее*). А вам на что?

Квасова. Извините, я думала, что это можно спросить!..

Элеонский. Женщина, каких в обществе называют падшими-с.

Квасова. Ах, извините... я ведь не знала...

Тумботин. Ха, ха!.. Вот это мило, в чем же вы извиняетесь?

Алкидина. Квасова опять отлила пулю?

Квасова. Да, я опять глупость сказала!..

Шебуев. Лучше чаю-то налейте мне.

Квасова (*кратко*). Сейчас. (*Страндиной.*) Вот еще на орехи досталось. А все оттого, что мы с тобой неученые... (*Относит чай Шебуеву.*) Последний стакан, больше нет...

Страндина. Скучно как! Хочешь в шахматы поиграем, здесь, кажется, есть доска?

Квасова. Не умею, это для меня больно умно! Я только в шашки смыслю, да и то плохо.

Страндина. Или Маймунида еще подразнить?

Квасова. Вот еще!

Страндина. Знаешь что! Отставим стол с самоваром вон туда. Я посажу Левенштрауха в угол, пускай он на гребенке играет, а мы будем польку танцевать. Левенштраух!

Левенштраух (*поднимая голову от книги*). А что же вам еще?

Страндина. Сюда, вам говорят!

Левенштраух. Ну, говорите же.

Страндина. Возьмите гребенку, покройте бумагой, садитесь в угол и наигрывайте польку.

Левенштраух. За кого же вы меня считаете, госпожа Страндина, что же я вам лакей достался...

Страндина. Ха, ха!.. Он обижаться вздумал!.. А еще сочинителем себя считает! Сейчас же марш, в награду руку дам поцеловать.

Левенштраух. У женщин рук не целуют... вы сами же это проповедовали, госпожа Страндина.

Страндина. Ну а для вас я, видите ли, хочу сделать исключение. Ну, марш!.. Квасова, бери стол...

Отставляют стол. **Левенштраух** отправляется в угол.

Шебуев. Что вы такое затеяли?

Страндина. Вы там спорьте об философии, а нам не мешайте. (*Квасовой.*) Ну, давай!

Квасова. Начинайте, Левенштраух!

Танцуют. **Левенштраух** подыгрывает на гребенке.

Алкидина (*в азарте*). Вы – метафизик!

Звездилин. А вы – доктринерка!

Шебуев. А я кто?

Алкидина. А вы – презренный жуир!

Звездилин. Терц!

Тумботин. Кварт-мажор!

П

Красихина (*ни к кому не обращаясь и не снимая салопа*). Здравствуйте! Что это у вас за базар? Пляс! С какой стати?

Квасова (*останавливаясь*). Красихина! Коли хотите чаю – больше нет! Хозяин совсем не заботится об гостях.

Красихина. Мне не до чаю. (*Подходит к Элеонскому.*) Ну, Элеонский, и вы все, господа, вы, кажется, очень довольны судьбой, играете тут, пляшете.

Элеонский. А что же?

Шебуев (*подходя*). Прикажете посыпать главу пеплом?

Алкидина. Что такое, откуда вы, Красихина?

Красихина. А вот что-с, я насилу держусь на ногах, так я возмущена...

Шебуев. Присядьте.

Красихина. Мы все живем трудом, господа, мы все, как собаки, работаем, и если с нами обращаются, как плантаторы с неграми, то какая же наша будущность?.. Этому надо положить конец!

Элеонский (*встает из-за стола*). Что? Я хорошенько в толк не возьму.

Красихина. Господа, мы все, кто из нас пишет, работаем в одном журнале. Но если так пойдет дальше, мы или умрем с голоду, или превратимся в батраков, в поденщиков. Нами станут помыкать, как стадом баранов! На той неделе я иду за гонорарием к Карачееву ¹⁵⁶. Во-первых, вы знаете назначены дни: среда до двух часов и пятница после обеда с семи. Звоню, не принимают. Это была пятница... Как же, говорю, ведь нынче приемный день? Нет-с, отвечает мне лакей, приему нет, по пятницам у барина гости изволят кушать, так приему нет. Пожалуйте в среду... Что, думаю, за новые порядки. Отправляюсь к этому уроду, который величает себя секретарем редакции. Нет дома!.. А деньги мне до зарезу нужны, у меня в кармане всего целковый остался... Так я прождала до среды: вы поверите, ела каждый день на пять копеек колбасы да булку трехкопеечную. В редакцию я представила оригиналу на восемь печатных листов вперед, да книжка с пятью листами должна выйти на днях. Кажется, можно попросить десять целковых?!

Звездилин. Следует требовать сто, а не десять.

Красихина. Вы увидите, как это разыграется... Прихожу в среду. Принимает,

разумеется, не сам барин, а секретаришка. Дайте мне хоть двадцать пять рублей, книжка выходит через два дня... Он скорчил физию, взял свой *rinse-nez*, и сквозь зубы цедит: «Павел Николаич решил больше не производить уплаты гонорария до выхода книжки в свет».

Шебуев. Ах, он урод!

Левенштраух. Это же свинство!

Тумботин. Тсс, господа, слушайте!

Красихина. Чувствую: генеральский тон, одну руку заложил за жилет, а другой величественно опирается об карниз камина! Так меня и взорвало: я, говорю, не первый месяц на журнал работаю, а второй год. Всегда аккуратно представляла оригинал. Да и теперь у вас есть вперед листов на восемь. Я не хочу верить, чтобы Павел Николаич отказал мне в такой безделице. Прежде я всегда получала до выхода книжки. А он стоит, ухмыляется и ногой подрагивает. Мало ли что было прежде-с, госпожа Красихина. Отношения изменяются... Мне стало невыносимо больно. Я промолчала, что у меня в кармане два двугривенных. Если так, я пойду к самому редактору! Это напрасно-с, он вас не примет-с. Как не примет? Очень просто-с. И все со своим лакейским слово-ер-с... Кстати, Павел Николаич просил вам передать-с, что редакция больше не нуждается в ваших трудах. Как так? Очень просто-с. Я не считаю необходимым вступать в дальнейшие объяснения-с... Это неблагородно, без всякой причины отнимать у меня кусок хлеба!.. Журналов-с много, отыщите другие кондидии. Гонорарий за напечатанные листы вы получите в будущую среду, а лишний оригинал редакция вам возвращает-с... Я так и обомлела!

Звездилин. Ах они разбойники!

Элеонский (*тихим голосом*). Подло, подло!

Тумботин. Кончайте!

Красихина. Как, говорю, возвращает? Не заплативши ни копейки? Редакция вас не понуждала-с, это была ваша добрая воля. Да ведь восемь-то листов полтора ста рублей стоят, я на это проживу четыре месяца! Разве вы не могли мне раньше сказать, одним хоть месяцем раньше, я бы приискала другую работу. А теперь куда я денусь с листами, вырванными из середины книги. Как меня ни взорвало, но я имела настолько силы воли, чтобы добиться-таки причины, чтобы узнать, откуда повеял такой ветер. Господин секретарь, говорю я, я до тех пор не выйду отсюда, пока вы не скажете мне прямо, без финтов, без уловок, что вызвало такое возмутительное распоряжение редактора? Видит эта дрянь, что я не уйду. Мялся, мялся, и выговорил-таки, наконец: «Редакция давно уже замечала-с в ваших переводах-с, госпожа Красихина, разные грубые выражения, и вообще постройку фразы не изящную, в преднамеренном тоне». Что такое за преднамеренный тон? Я не понимаю. Я знаю по-английски хорошо, русскую грамоту также разумею, перевожу старательно, бойко, скоро, чего же вам еще надо? Ни от кого я не слыхала, что мои переводы плохи, вялы или бестолковы! Редакция желает совершенно изменить тон литературных переводов и статей, и пользоваться трудами сотрудников, уважающих некоторые предания по части слога и языка. (*Встает.*) Господа, чувствуете вы, чем это пахнет? Тут уже не я на первом плане, не моя нужда, не моя потеря, тут всем нам готовится западня. Это значит в русском переводе, что наш тон не годится больше для лавочки Павла Николаича, что надо или вышколить нас, или заставить писать Карамзинским слогом^[57], или выгнать всех по шеям. Оно так и будет! Павел Николаич начал, как видите, угощать обедами своих старых литературных друзей, а мы у него в швейцарской да на черной лестнице дожидаемся редакторской подачи!^[58]

Элеонский. Все рассказали?

Красихина. Разве этого мало? Я обращаюсь к вам, Элеонский, вы имеете имя, редакция дорожит вами, вы должны вступитьяся, вы должны заявить Карачееву всю гнусность его поведения!

Элеонский (*в недоумении*). Скверно, что и говорить, очень неблагоприятно...

Красихина. Еще раз повторяю: мы все, господа, должны принять меры, нас хотят вытеснить, нас хотят оплевать.

Тумботин. Пожалуй, что и так, в моей статье о совокупности животных отправлений я насилиу отстоял самые важные места!..

Левенштраух (*выступает*). Это же подлость! А со мной же как поступили? Из пяти форм всего четыре с половиной оставили... я считал строчки, да!

Шебуев. На сколько же, Левенштраух, тебя нарезали?..

Левенштраух. На семь же рублей с копейками!..

Шебуев. Ха, ха, ха!

Алкидина. Полноте вы тут школьничать, Шебуев. Тут дело серьезное! Я давно предполагала, господа, устроить литературный труд на новых началах, чтоб подсесть в корне редакторскую эксплуатацию^{59}.

Красихина. Да, хорошо вам толковать, вы, Алкидина, не живете литературной работой. Время не ждет! Пока вы будете устраивать журналы на новых началах, нас совсем забьют.

Тумботин. Дело!

Элеонский. Еще бы не дело! Мне только, признаюсь, все еще не верится, чтоб Павел Николаич так поступил...

Красихина. Я не стану лгать!..

Элеонский. Верно... может быть, эта презренная тварь – секретаришка, он мне самому противен...

Красихина. Без барского приказа он не посмел бы! Я чувствую, откуда это идет! Вы должны, Элеонский, протестовать, – идите! Вас наверно примут! Я нарочно явилась сюда сегодня. У редактора теперь обед кончился. Генералы литературные в полном комплекте. Допросите его при всех!.. Пускай он повернется!.. Заплати мне, во-первых, а потом сознайся, что сделал мерзость! Да пропадай мои деньги даже, только бы его осрамить и всех оградить от гнусного произвола. А коли он нас оттирает, объяви прямо!

Звездилин. Идите, Элеонский.

Левенштраух. Я же бы пошел!

Алкидина. Надо идти.

Тумботин. Обсудить следует сперва...

Красихина. Что тут обсуждать!.. Кажется, ясно!

Элеонский. Обругать человека не велика трудность!

Красихина. Как зазовут к себе, да потом и вон, – умирай с голоду, как собака.

Квасова (*подходит*). У нас есть место в типографии. Хотите, Красихина, я попрошу за вас.

Красихина. Что мне в вашем месте? Я учиться должна два месяца, а на что я стану есть?

Алкидина. Вы, Квасова, всегда отольете пулю!

Квасова. Виновата, я предложила, что могла... (*Страндиной.*) Все невпопад!

Страндина. Небось, есть захочется, так и к нам листы фальцевать пойдет!

Алкидина. Как же, Элеонский, решаетесь вы?.. Если не хотите идти, напишите ему письмо, соберемте как можно больше подписей! Это будет даже посильнее!

Звездилин. Идея хороша! Придать этому настоящую гласность!^{60}

Шебуев. В набат мы приударим!

Элеонский. Я готов, господа. Только скандалу пока делать не следует. Надо мне с глазу на глаз переговорить с Павлом Николаичем. Со мной, небось, финтить не станет; а если же он действительно начинает блудить, тогда мы ему представление устроим: за вкус не берусь, а горячо будет!..

Ш

Категорийский (*входит в шапке, с растерянной миной*). Господа, здравствуйте!

Шебуев. Что у вас за лицо, Категорийский? Ха, ха!

Категорийский (*с акцентом на «о»*). Не знаю я, какое у меня лицо. (*Садится на стул.*) Пропаций я человек, пропаций!

Элеонский. Откуда ты?

Категорийский. Провинились мы с тобой, Гриша, бурсаки мы горькие... (*В большом волнении.*) Я ему говорю: Павел Николаич, я корректурой живу, да семью целую кормлю... По-аглицки я точно не знаю, да много ли аглицких слов попадается... Опять же авторы читают вторую корректуру... Побойтесь вы Бога... С Выборгской^{61} я каждый день припру в типографию в восемь часов...

Красихина. Отказал вам от места?

Категорийский. Слово, вишь, аглицкое не выправлено было! Я ему говорю: Павел Николаич, вам меня Элеонский представил, вы хошь для него не делайте меня несчастным.

Красихина. Видите, господа!

Тумботин. Когда это было?

Категорийский. Сегодня.

Левенштраух. Это же свинство!

Элеонский. В типографию приехал?

Категорийский. Я сижу, правлю. Входит и почал меня ругать. Вы грамоте не знаете, какой вы корректор, вам бы в дьячки^{62} идти из семинарии! А нешто он сам читает хошь когда ни на есть? Вы мне не нужны! Я ему об тебе, Гриша, так, мол, и так, хошь для Григория Семеныча уважьте... Ни я пьянствую, ни задержка от меня какая... допросите последнего наборщика. Даю, говорит, вам сроку неделю. Нанимайтесь в другом месте. Господину Элеонскому скажите, чтоб об вас и не заикался... Фактор^{63} тут подходит. Он ему: «А от Элеонского прислан конец повести?» «Никак нет-с». «Что ж это! Надо торопиться с ноябрьской книжкой, а он шелопаичничает. А денег небось придет клянчить! Вы, кричит мне, скажите вашему приятелю, чтобы оригинал был в типографии на этой же неделе!..»

Красихина. Слышали вы теперь? Лгала я или нет?

Звездилин. Левенштраух. Красихина. Алкидина. (*Вместе.*) Идите! Это же свинство! Ошельмовать его! Обличить!

Категорийский. Попроси ты, Гриша, за меня... я хоть по полтиннику с листа... *(Плачет.)* Обидно мне... Невтерпеж обидно!

Элеонский. Полно! Баба ты, что ли! Отыщешь работу!.. Начали прямо подличать, тем лучше!

Категорийский. Горькие мы бурсаки!

Шебуев *(треплет его по плечу)*. На реках вавилонских тамо седоном и плакахом ^{64}.

Красихина. Идите, мы вас здесь подождем.

Алкидина. Надо составить план!

Элеонский. Какой план? Небось горячо будет!

Тумботин. Хотите, я с вами двинусь?

Элеонский. Не надо. Довольно и меня одного! *(Идет к двери.)*

Квасова *(останавливает его тихо)*. Не ходите, Элеонский, отложите до завтра, вы очень взволнованы... послушайте меня...

Элеонский. Что-с?.. Как вам не стыдно! Экое мещанство! Вы видно только об себе думаете... Лучше бы вы шли замуж за сенатского регистратора да огурцы солили!.. Прощайте, господа!.. *(Уходит. Все кидаются на Квасову.)*

Сцена 2

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Павел Николаевич Карачеев, редактор журнала.

Александр Иванович Погорелов.

Иван Дмитриевич Лазнев, Петр Петрович Токарев – романисты.

Анатолий Александрович Виталиев, поэт.

Элеонский.

1, 2 – слуги.

Действие в квартире **Карачеева**. Хорошо убранный кабинет. Большой письменный стол и турецкие диваны. На стене ружья и охотничьи вещи. Освещено лампами.

Сцена 2^я

Действующие:

^{Карачеев}
Павел Николаевич Карачеев, редактор журнала.

Александр Иванович Погорелов.

Иван Дмитриевич Лазнев

Петр Петрович Токарев

} романисты.

Анатолий Александрович Виталиев, поэт. Ан. Майков
Елисеевский.

1 }
2 } слуги.

(Действие в квартире Карачеева. Хорошо убранный кабинет. Большой письменный стол и турецкие диваны. На стенах ружья и охотничьи вещи. Освещено лампами.)

Карачеев, Погорелов, Лазнев, Токарев, Виталиев расселись в покойных позах с сигарами. **Слуга** обносит кофей с коньяком.

Карачеев (Лазневу). Подлей коньячку, это, мой друг, не Елисеевский.

Лазнев. Так вот, господа, вхожу я в Мабиль [65](#), народу куча, все больше англичане, и

наших компатриотов^{66} довольно-таки. Вы знаете, ведь, направо от входа, против воксала всегда толкотня. Около одной кадрили не продерешься, столько народу. Смотрю через головы: какая-то девочка, подобравши юбочки, самым неистовым манером выделяет такие шуки, что просто слюнки текут; даже французы, на что привыкли, и то ахают! Около меня какой-то черномазенький. Кто это, спрашиваю... «Mais, Monsieur, c'est Alice la Provousole!»^{67} Как, дескать, ты не знаешь этакой знаменитости! И чтобы вы думали: эту самую Alice я пустил в ход, да-с, я и никто другой. Она девчонка была самая заурядная, я направил ее шаги^{68}.

Погорелов. Дал ей высшую школу... (Все смеются.)

Лазнев. Пододвигаюсь ближе. Как только она меня взвидела, – кадрили еще не кончился – на шею ко мне и чмок в губы. Bonjour, cochon!..

Карачеев. И взял-таки контрибуцию с ученицы?

Лазнев. Само собой... Теперь все это падает. Пойдите в Мабиль: мертво, кисло, дрябло! Канканируют какие-то холуи, наемные гарсоны – пять-шесть пар. Женщины, конечно, есть, да больше брак; вырождается порода, шик пропал, пикантность! Я вам доложу, государи мои, наша Северная Пальмира – место злачное и прохладное по женской части. Надо только знать, где и как добывается оный продукт. Подите вы даже к Излеру^{69}: ведь бездна женщин, все это свежо, наивно (*картавит*), этакие все добренькие, холесие! Особенно из швейного мастерства. Мне, господа, доставляет чистое наслаждение часу этак в первом, когда разъезжаются от Излера, стоять на подъезде и смотреть, как сажают девочек в кареты... Так вчуже душа радуется!

Карачеев. Ха, ха! Видно старо стало!

Виталиев. Все это не то, друзья! Нет природы, нет неба. Когда я был в Италии, помню, в Сорренто, в самый благоухающий сезон апельсинов, встретил я прелестнейшее создание – крестьянку, несла она кувшин с водой... Какой торс, какая глубина и ясность взгляда!..

Лазнев. Усладился с крестьяночкой?

Виталиев. Божественно!

Лазнев. И элегию написал?

Виталиев. Еще бы. А мое ноктурно:

Под знойным пологом чарующего неба...

Я знаю, что эта вещь дышит страстью. После таких женщин, друзья мои, на наших глядеть противно!

Погорелов. Это все относительно, господа, а выедешь из Италии в Испанию, скажешь, что рядом с испанскими женщинами все остальные ничто. И знаете, господа, где особенно хороши женщины. Обыкновенно все кричат про Андалузию. Нет, это слишком банально. По моему, лучший тип в Астурии! Провинция эта очень мало посещалась туристами...^{70}

Лазнев, однако, прав: здесь в Петербурге попадаются прелестные женщины полупольского, полунемецкого типа. Да вот недавно одна Эрнестина – просто античная красота, овал рук, профиль, мягкость движений!.. Я отрекомендовал даже Петру Петровичу.

Лазнев. А! Ваше превосходительство, изволили остаться довольны?

Токарев (*важно ухмыляясь*). Да, признаюсь, богатые статьи...

Лазнев. Его превосходительство изволят больше прохаживаться по части немецкой нации... В прошлом году сталкиваемся мы с ним в Гейдельберге на железной дороге...

Токарев. Ну уж ты начинаешь паясничать, ничего тут не было.

Лазнев. Позвольте, позвольте! Встречаемся мы у кассы... Только я вижу, что мой действительный статский советник и разных орденов кавалер совсем покрыт с ног до головы саками^{71}, картонками, женскими ридикулями. Визитка на нем фисташкового цвета, галстук – персикового, шляпа с голубой лентой! Что это, кричу ему, кто тебя нагрузил? Заминается... Взял три билета и бежит в сторонку. А там две немочки. Одна молоденькая, белые кудерки, ein bischen Kartöfelfins-fing^{72}, но ничего!.. Вкусна!.. Так вот, мол, вы как, Петр Петрович!.. И сел с ними в один вагон, а меня не подпустил!

Токарев. Все врет!.. А немки точно имеют много нежности. Особенно цвет и прозрачность кожи! Южные женщины слишком порывисты. Это не в моих привычках...

Лазнев. Нет, каков разных-то орденов кавалер?

Карачаев. Да он злец. Он больше по части вдов, под сурдинку, чтобы никто не видал.

Лазнев. Как и прилично администратору.

Карачеев. Вы перебирали тут испанок, немок, француженок... А наши-то, приволжские... Летом, как спустишься от Твери вниз по Волге, где-нибудь переночуешь в большом селе, вот хоть бы в Побошках... Что это за народ!.. Девки-то едреные, так здоровьем на тебя и пышет!.. Красота!

Погорелов. Да, друзья мои, кто ее теперь понимает, эту красоту! Особенно твоя духовная команда!

Лазнев. В самом деле, Павел, когда ты наконец распустишь свою консисторию? Ведь это, братец, ни на что не похоже – семинарист на семинаристе сидит, семинаристом погоняет... Ведь согласись, вот мы твои друзья... При всей любви к тебе, совестно поместить что-нибудь в твоём журнале. Провоняло семинарией, провоняло, братец!^{73} Спроси ты у каждого порядочного человека!

Карачеев. Разве я не вижу?!

Лазнев. Чего же ты дожидаться?

Карачеев. Я уж окоротил некоторых. Вот еще до нового года дам волю, а там и марш, а то затягивай другую песню. Я ведь церемониться не стану.

Токарев (*поправляя крест на шее*). Не благовидно! На тебя очень дурно смотрят... Рисковать своей репутацией из-за недоучившихся дьячков, из-за разных оборванцев!.. Мы живем в благоустроенном государстве, а не у диких папуанцев, где можно все на свете проповедовать. Я тебе давно хотел сказать: возьми свои меры, не благовидно.

Виталиев. Таланта ни в ком ни зерна!.. Какая же может быть жизнь в журнале без идеала, без поэтического чутья, без чувства красоты!

Карачеев. Есть у меня малый с талантом – Элеонский. Его я попридержу.

Погорелов. Да, он, пожалуй, даровит, но невежда, надо ему хорошую школу...

Карачеев. Вы меня не спрашивайте... Мне самому мерзко: ответственность бери, извиняйся за всякого скота! Провались они совсем и с журналом!!

Токарев. В том-то и дело.

Лазнев. Ты очень с ними нежничал. Поверь, что вся эта голодная братия будет по твоей дудке плясать, как только ты ее приструнишь хорошенько! Ясно, как Божий день: куда им деваться? Они ни на что не способны, кроме своей грошовой публицистики. Ни один из них

сцены не напишет, стиха не сплетет. Je faut les traiter en canaille, moncher^{74}.

Токарев. Ты принадлежишь, так сказать, к аристократии литературного мира. Не следует унижать достоинство твоих товарищей и делать из своего журнала орган Бог знает каких бредней! На каждом из нас лежит долг перед обществом. Этого мало, что я писатель, я служу и служу моему отечеству честно и беспорочно.

Лазнев. Семинаристы и обманутые поручики – вот персонал изящной и всякой словесности... Забыл я вам рассказать. Осенью возвращаюсь я в Россию. В Берлине, за табльдотом, в British Hôtel^{75}, сидит около меня какая-то белобрысая физия, усы, бородища, пахнет розовой помадой. Вдруг обращается ко мне: «Вы русский?» Да-с. Очень приятно. (*Трясет руку.*) Наклоняется и шепчет: «Поручик Семипалов, в отставке». Очень приятно. (*Трясет руку.*) Вы реалист? Нет-с. Социалист? Нет-с. Либр-эшанжист? Нет-с. Я политико-эконом. Очень приятно-с. (*Трясет опять руку.*) Вот нынче какие экземпляры!..

II

Слуга (*в дверях*). Господин Элеонский желают вас видеть.

Карачеев (*с гримасой*). Сказано, никого не принимать по делам редакции!

Слуга. Да оне нейдут, дожидаются в зале. Доложи, говорит, Павлу Николаичу, я не по журналу, мне их так видеть желательно.

Карачеев. Дурак! Не мог выпроводить! Что я с ним стану делать!

Погорелов. Прими. Я бы хотел поближе его разглядеть.

Лазнев. Преподать правила благоприличия и опрятности.

Токарев. Хе, хе! Не мешает!

Виталиев. И диких скифов обуздывали древние мудрецы.

Карачеев. Неотесан, как чурбан! Так бурсой и отшибает! (*Лакею.*) Ну, проси!

Лакей уходит.

Погорелов. Интересно знать, как эти люди смотрят на свое призвание, как они задумывают свои вещи.

Лазнев. На рубли серебром, очень просто.

Карачеев. Эту науку они отлично разумеют.

III

Элеонский (*входит скромно и делает общий поклон, потом подает руку Карачееву*). Вы разве не принимаете, Павел Николаич?

Карачеев. Нет, я переменял день...

Элеонский. Так вы бы об этом объявили. А то что же народ-то к вам ходит без пути. Впрочем, я знал, что вы по пятницам обеды для друзей даете. (*Оглядывает остальных.*)

Карачеев. Господа, представляю вам господина Элеонского.

Погорелов. С господином Элеонским мы на днях познакомился у Клемина.

Элеонский. Так точно-с. Вы еще изволили меня за милые пейзажики похвалить.

Лазнев (*подходит к Элеонскому*). Я Лазнев. Написал, как вам известно, много романов. И вот вам совет, господин Элеонский. Мы все видим в вас дарование. Не грязните же его, не выворачивайте с цинизмом изнанку жизни!.. Я двадцать лет пишу, и какие сферы я ни задевал, я всегда старался облагородить человека.

Элеонский. Покорно благодарю-с.

Лазнев. Вы видите здесь перед собою, так сказать, представителей нашей литературы, и каждый из нас пожелает вам того же самого.

Токарев. Не мешает помнить, господин Элеонский, что на писателе лежит долг перед обществом, да-с.

Виталиев. Можно любить грязь только в диком состоянии! Оскорбляя поэтическое чувство, вы тем оскорбляете все священное.

Элеонский. Благодарю покорно.

Погорелов. Вы теперь в таком периоде, господин Элеонский, когда молодой человек старается как можно пространнее высказать свою мысль. Это понятно. Будьте скупее на слова, но так, чтобы каждое ваше слово носило в себе ясный, художественный образ.

Элеонский. Слушаю-с.

Карачеев. Я очень рад, Элеонский, что мои друзья делают вам замечания. Мы только что говорили об вас. Надо, батюшка, отставать от бурсацких замашек. Выделяйте хорошенько язык, а то у вас иной раз слово попадается черт знает какое! Не век же пережевывать семинарские погудки!..

Элеонский. Карамзинским языком прикажете писать?

Лазнев. Не худо и у Карамзина поучиться, господин Элеонский. Павел Николаич до сих пор допускал много лишнего в своем журнале, возлагал, видите ли, надежды на молодое поколение, но теперь рассудил, что пора подобрать вожжи...

Элеонский. Что это такое, Павел Николаич? Кого вы желаете на вожжах-то держать, меня, что ли?

Карачеев. Не столько вас, батюшка, сколько ваших приятелей и приятельниц.

Элеонский. Так-с! Знаете ли, Павел Николаич, я пришел ведь к вам за делом, а не разводить разговоры.

Карачеев. Выберите другое время, голубчик, у меня гости; после обеда какие же дела!

Элеонский. Для вашего желудка, известно, неудобное время, да мне-то нельзя ждать. Вы изволили отказать в работе Красихиной и Категорийскому. Красихиной вы не хотите заплатить за листы, которые она представила уже в редакцию. Так, видно, все *хозяева* поступают. Но вы или ваш секретарь, что все равно, выставили вот какую причину: слог-де не хорош, неизящные выражения, семинарией отшибает! Она работает на вас целый год, почему-то прежде семинарией не отшибало? Тоже самое я услышал сейчас от ваших друзей. Мне только этого и надо было. Я не хотел верить ни Красихиной, ни Категорийскому, но теперь я чую, чем запахло здесь в кабинете. Вы и ваши друзья скажете, пожалуй: что за рыцарь выискался, приходит ратовать за угнетенную невинность!.. Что за неуч такой! Нарушает наше сладкое пищеварение... Успокойтесь, господин Карачеев, я декламировать не стану. Деньги вы Красихиной заплатите, мы найдем средство посильнее просьб, вас ведь не усовестить... Я об себе, собственно, пришел говорить. Такой эгоизм поднимет меня и в ваших глазах, и в глазах этих господ. Маленький вопросец: приказывали вы Категорийскому передать мне, чтобы я доставил конец повести как можно скорее?

Карачеев. Я, кажется, ему говорил... Только к чему все это, голубчик?..

Элеонский. Вам кажется?.. Ну, а теперь, сейчас, вам не угодно приказать того же?

Карачеев. Вы сами знаете, что надо торопиться!

Элеонский. А я нахожу, господин Карачеев, что совсем не надо. Вам конец повести нужен, а я объявляю напрямки, что, если вы сейчас же не заплатите Красихиной, повесть останется без конца!

Карачеев. Что такое, что такое! С ума вы сошли!

Лазнев. Это вовсе не остроумно, господин Элеонский.

Элеонский. Вы полагаете? Покорно благодарю за урок. А я так думаю, что достаточно остроумно. А чтоб заставить вас, господа, замолчать, вот вам факты: девушка работает больше году на редакцию. Вдруг ее гонят, но этого мало – возвращают ей заготовленный перевод, т<о> е<сть> крадут у ней из кармана деньги за труд целого месяца. Тут, кажется, нечего возражать.

Карачеев. Да вам-то какое дело, Элеонский!.. Это глупо наконец!

Элеонский (*подходя к нему*). Павел Николаич, вы меня знаете, я на ветер не стану говорить. Не кобеньтесь, доставайте-ка из бюро двести рублей.

Карачеев. Как двести?

Элеонский. Да так уж, не обочтетесь!

Карачеев. Что это за комедия?

Элеонский. Я жду, и ваши друзья также. Они, верно, заплатили бы за вас, чтоб я только ушел... Не правда ли, господа?

Карачеев (*вынимает деньги*). Это черт знает что такое!

Элеонский. Оно так-то лучше. (*Кладет деньги в карман.*) Теперь позвольте поблагодарить еще раз ваших друзей за данные мне советы. Господин Погорелов нашел у меня милые пейзажики и предписал скупость выражений, вот они (*указывает на Токарева*) преподали урок благонамеренности, они (*указывает на Виталиева*) наставили в поэзии, они (*на Лазневу*) указали на Карамзина и благородство собственных произведений... Столько драгоценных советов и в какие-нибудь пять минут!.. (*Меняя тон и поднимаясь.*) Я вижу, куда я попал. Я вижу, что здесь собрались воеводы вражьего стана. Но почему же, господа, у вас не хватает смелости сказать прямо, что вы нас ненавидите, что вы, наконец, готовы клеветать на нас... Говорите, нечего драпироваться в свое олимпийское величие... Или лучше пускать исподтишка беззубые эпиграммы да старческие ругательства? Чего же вы боитесь, на вашей стороне столько добродетели и славы: торжественные оды, повести, канцелярская мораль, сантиментальные пейзажи!.. Вам стоит сказать слово – и мы повержены в прах, оплеваны, как парии, как отребье общества!.. Полно, так ли, господа?! Вам ли одолеть то, что стало выше вас головой, одряхлевшей ли злобой уязвить нас?.. Никогда! Каковы бы мы ни были, мы не лжем, не играем в убеждения, не обманываем предательски общество за подписную плату! (*Обращаясь к Карачееву.*) Вы, барин, оглянитесь на себя! Вы набрали молодых людей, торгуете их мыслями, их душевным добром, слывете за либерала, за прогрессиста! А внутренне вам в тягость мысль и правда; вы живете в одну утробу. Мало того, вы с вашими друзьями издеваетесь над семинарским духом, которым, видите ли, провонял ваш журнал! И теперь, когда вы набили мощну, – вон всю команду, по шеям голодную братию! Кого же презирать, господин Карачеев? Меня ли, сына пономаря, полуграмотного бурсака за то, что он пишет, что выстрадал в своей жизни, или

вас – литературного корифея, постыдно предающего молодые силы?!

Карачеев (*как ни в чем не бывало*). Господа, милости прошу в гостиную!

Лазнев (*остальным*). Уйдемте, он прибьет, пожалуй! (*Уходят все четверо, пожимая плечами.*)

Элеонский. Ха, ха!.. Возражения, значит, не удостоили!

Карачеев. Если б вы были пьяны, я бы спустил вам, но я шутить не люблю... Это превышает всякую меру!

Элеонский. Что-с? Угрожать изволите?.. Напрасно, господин Карачеев! Вы думали, что мы все молчим. Нет, мы говорим иногда.

Карачеев. Между нами все кончено!

Элеонский. Не верю: конец повести запросите...

Карачеев. Все кончено, повторяю вам!

Элеонский. Не повторяйте. Я вам не дам ни строчки.

Карачеев. И умрете с голоду, больше вам негде печатать.

Элеонский. И умру с голоду, господин Карачеев, а вы на моих похоронах спич произнесете и весьма чувствительно изобразите, как вы для меня были отец и благодетель, и какие во мне творческие силы погибают безвозвратно.

Карачеев. Прошу вас оставить мой дом. Сколько вам следует гонорария?

Элеонский. Да книжка еще не выходила.

Карачеев. Все равно-с.

Элеонский. Пятьсот рублей!^{76}

Карачеев. Как пятьсот?

Элеонский. Считаться желаете! Смело!

Карачеев (*порывисто достает деньги*). Извольте!

Элеонский. Расписочку прикажете?

Карачеев. Я желаю, чтобы вы ушли вон... Слышите? (*Уходит.*)

Элеонский. Слышу!.. (*Считает деньги.*) Вот твоя кровь, Элеонский!.. Больше негде писать! Лавочка закрыта!.. Пора и на кладбище!..

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Кленин.

Элеонский.

Клара Ивановна Миллер, проживающая у квартирной хозяйки, молодая женщина.

Ариша, горничная.

Действие у **Клары Ивановны**. Род гостиной, какие бывают в меблированных комнатах. Утро. При поднятии занавеса комната пуста. Слышен звонок в передней.

I

Ариша (*проходя через комнату*). Поди, чай, к Кларе Ивановне, а она еще дрыхнет. (*В передней.*) Пожалуйте, сюда.

Входит **Кленин**.

Кленин. Вы говорите, что здесь живет госпожа Миллер?

Ариша. Здесь. Коли спит, я разбужу.

Кленин. Не надо. Я в другой раз зайду.

Ариша. Да не беда. Вы побудите сами. (*Ухмыляется.*) Она скорее встанет...

Кленин. Нет, я после... В котором часу обыкновенно встает Анна Алексевна?

Ариша. Какая Анна Алексевна? У нас такой нет.

Кленин. Нет? А мне сказали, что Анна Алексевна Миллер здесь живет!

Ариша. Миллерша-то она точно Миллерша, да только Клара Ивановна.

Кленин. Это должно быть не та.

Ариша. Да вы побудите, вам говорят...

Кленин (*увидев портрет над диваном*). Это чей портрет?

Ариша. Ее.

Кленин (*подходит*). Она! (*Арише.*) Я зайду через час.

Ариша. Как знаете. Сказать об вас, что приходили?

Кленин. Фамилию мою?

Ариша. Да, фамилию.

Кленин. Скажите, что знакомый приходил, желал бы видеть... Я через час...

Ариша. Небось не опоздаете, она у нас рано-то не подымается.

Кленин. Так я зайду. (*Уходит, за ним Ариша.*)

II

Ариша (*проводивши Кленина*). Горюн какой-то! Сюртук-то весь в пуху, глаза красные,

должно быть хмельным зашибается. К ней всякие завертывают, никем не брезгует. Один пришел, другой вышел... Точно в почтовой конторе или в мелочной лавочке. Звонки одолели, благо платит хорошо... И какое, я посмотрю, житье этим барыням... Что твои принцессы: пешком улицы не перейдет, а юбок-то... одних вышитых пять штук, ей-богу!.. Хвост распустит по всему Невскому, сору-то пуда с два приволочет...

Голос из соседней комнаты: «Ариша!»

Ариша. Чего вам?

Голос. Который час?

Ариша. Небось, чай, двенадцатый в исходе.

Голос. Кто звонил?

Ариша. Вас спрашивали... господин какой-то.

Голос. Что ж ты не проводила сюда?

Ариша. Я думала, вы спите.

Голос. Глупая! Я давным-давно встала.

Ариша. Кто вас ведает, иной раз до обеда валяетесь!

III

Клара Ивановна (*в белом пеньюаре*). Право, какая ты дура, Ариша! Много тебе стоило труда войти ко мне в комнату?

Ариша. Да я ему говорю, сударыня, подождите, мол, я побужу барышню. А он все пятится, через час, говорит, зайду, не беспокойте.

Клара. Молодой?

Ариша. Нет уж подлеточек... волос с проседью. Сюртук не больно тузист, да и весь-то – ровно помял его кто!

Клара (*разваливается на диване*). Урод какой-нибудь. Дай папироску... Кофей готов?

Ариша. Сейчас... Принять его в другой-то раз, коли придет?

Клара. Прими.

Ариша уходит.

IV

Клара. Спала, кажется, довольно, а все спать хочется. (*Зекает и потягивается.*) Нынче маскарад в Коптилке. Так мне прискучил этот стрелок, все про одно и то же рассказывает. Поди, чай, говорит: какую я, господа, интрижку завел!.. Великосветская барыня! Весь-то с шиш, а туда же, хорохорится! Напою я его как-нибудь хорошенько до положения риз... авось будет поучтивей немножко!.. И пить-то они не умеют нынче!.. В театралке стоит мой, облокотившись об барьер, у директорской ложи¹⁷⁷, точно мумия... И любуйся на его медный самовар со звездой!.. Подойдешь с чем-нибудь... (*Передразнивает.*) А!.. Ты мне надоела маска! Вот и весь их ум! А обругаешь его что ни на есть лучше... и то не умеет сдачи дать!.. Дрянь!..

Ариша (*подавая кофе*). Я забыла, барышня, господин-то этот спрашивает меня: в котором часу встает Анна Алексевна? Какая, мол, Анна Алексевна, у нас, говорю, Клара Ивановна Миллер живет, а не Анна Алексевна... На потрет посмотрел и спрашивает: чей, мол, потрет? Я говорю, барышнин. Еще раз взглянул...

Клара. Анна Алексевна назвал?

Ариша. Так точно. Да еще прибавил, должно быть, не то, а как на потрет взглянул: зайду, говорит. Видно, узнал по потрету.

Звонок.

Вот опять звонит...

Клара. Впусти.

Ариша уходит.

Верно, кто-нибудь из прежних... Мне бы теперь старичка какого приласкать... Покойней!..

Элеонский. Дома?

Клара. А! Это Элеонский, а я думала, не знай кто!

Элеонский. Мало разве?

Клара. Ты приходил утром?

Элеонский. Не думал.

Клара. То-то. Ариша тебя знает.

Элеонский (*садится возле нее*). Ну, мамзель, я с большими деньгами.

Клара. Это похвально, душа моя.

Элеонский. Заполучил с барышника...

Клара. С какого барышника?

Элеонский. Который нашим товаром промышляет. Теперь закачусь по крайности на недельку; уж ты сделай милость, помоги.

Клара. Деньги-то спустить?

Элеонский. Да.

Клара. С моим удовольствием.

Элеонский. Это последние, понимаешь. Больше мне неоткуда ждать.

Клара. Что так?

Элеонский. Тебе до этого мало нужды: были бы кредитные билеты.

Клара. Какой ты мужик, Элеонский! Ничего ты не можешь сказать, как порядочный человек...

Элеонский. Вот тебе раз, только нынче она разглядела, что я парле-франсе не обучался!

Клара. Трезвый ты ни на что не похож...

Элеонский. А как выпью?

Клара. Еще хуже.

Элеонский. Ха, ха, ха!.. Люблю!

Клара. Хоть бы ты мне на смех подарил что-нибудь.

Элеонский. Скажите, пожалуйста, нежности какие!.. Есть у меня финансы – предоставляю, разделим, дескать, любовь, и кончен бал.

Клара. Совершенный ты пономарь!.. Говорят тебе: привези мне подарок.

Элеонский. Какого рожна, с позволения сказать?

Клара. Да хоть вздор какой, я тебя обижать не хочу.

Элеонский. Ты цену-то скажи.

Клара. Коли станешь так безобразничать, я выгоню... Вот у меня портсигар прохудился. Ступай сейчас и привези. Купи на Невском, у Кнопа.

Элеонский. Да ты возьми ассигнацию лучше.

Клара. Не серди меня.

Элеонский. Когда я для женского пола подарки покупал?

Клара. А для меня купишь.

Элеонский. Это и в пьяном виде не подобает, а не токмо что в трезвом.

Клара (*передразнивает*). Не токмо!.. Кто этак говорит? А еще сочинитель!

Элеонский. Был да сплыл... Тебя это Кленин, что ли, выучил отменно выражаться?

Клара. Кто бы ни выучил, а ты все-таки чурбан. Ну, ступай! (*Толкает его.*) Приезжай после обеда.

Элеонский. А до обеда-то посетителей, видно, дожидаясь, барышня?

Клара. Довольно и вечера. Целый день с тобой тоска!

Элеонский. Я на тонкой деликатности буду, коли хочешь!

Клара. Ха, ха! Тебя в трех котлах надо варить.

Элеонский. Справедливо! Так неужели же я в самом деле поеду тебе портсигар покупать?

Клара. Поезжай, голубчик, хоть раз уважь меня.

Элеонский. Да я почему знаю, какой ты портсигар хочешь? У меня вкусу от роду не бывало.

Клара. Мне все равно. Нет, погоди, – с лошадиной мордой!

Элеонский. Ладно! (*Уходит.*)

VII

Клара. Пускай его проездится. Кто это меня Анной Алексевной назвал? Не придумаю. (*Закуривает папиросу.*) Элеонский – добрый парень, только больно уж семинарист... С этими сочинителями тоска смертная: или стихи читают, или про себя все болтают, важничают, а коли в пьяном виде – куражуются... Это, бывало, мой Виктор Петрович, как меня уму-разуму наставлял!.. Экие дураки, подумаешь... (*Зевает.*) Ариша, а Ариша! Где ты?

VIII

Ариша. Чего вам?

Клара. Ты того барина прими...

Ариша. А этого, коли тот будет сидеть... ведь я слышала, он в магазин поехал.

Клара. Он вечером только вернется.

Ариша. Разве так. Только я вам скажу, барышня, тот-то, что приходил давеча, очень он из себя не авантажен, и должно быть в кармане плохо, потому и сюртук в пуху и брюки никакого вида не имеют...

Клара. Ты все-таки прими.

Ариша. Мне как вам угодно. Быть может, и в самделе ему до вас дело есть какое. Кофею еще не хотите?

Клара. Нет.

Слышен звонок.

Ариша. Это, наверно, он опять.

Клара. Иди.

Ариша. Не замерзнет. (*Уходит.*)

Клара. Элеонского очень-то общипывать не хочется... И то сказать, все спустит до копейки, не я, так другая...

IX

Кленин (*останавливается на пороге. Клара сидит к нему спиной*). Анна Алексевна!

Клара (*быстро оборачиваясь*). Кто это?

Кленин. Я.

Клара (*встает*). Кленин!

Кленин (*подходя*). Да, Кленин.

Клара. Вот новости! Откуда это Бог принес? Я думала, вы изволите в Москве благодатной пребывать!..

Кленин. Нет, я здесь!

Клара. Зачем же это пожаловали?.. Это он был утром! Стоило принимать!.. Кто вам сказал про меня, что я здесь, в Петербурге?

Кленин. Вы видите, я знаю.

Клара. Впрочем, совсем не интересно... Да! Это семинарист мой разболтал! Наверняка!

Кленин (*подходит еще ближе*). Вы спрашиваете?

Клара. Ваш брат сочинитель хуже бабы: ничего не держится, все выболтает. Что вы на меня так уставились? Ха, ха!.. Он, небось, думал, поражу я ее, коли явлюсь, с места не встанет!.. Все такой же сумасшедший, как и был... Присядьте. Кофейку желаете?

Кленин. Благодарю.

Клара. Да что вы, в самом деле, уставились на меня? Кинжалом пронзить хотите? А вы скажите наперед – я Аришу за городовым спосылаю!

Кленин (*хватаясь за голову*). Боже мой!

Клара. Ну, стихи начнет читать сейчас! Так и есть! Нет, уж лучше я. Дайте вспомнить, как бишь это, из Пушкина... {78} да:

Так вот кого любил я пламенной душой...

Как дальше-то, подскажите? Видите, я еще стихов не забыла. Присядьте же.

Кленин (*опускается*). Я не слушаю, что вы говорите!..

Клара. Ха, ха, ха! Да что вы трагедию-то разыгрываете!.. Ах, какой он старый стал, седых волос сколько! Просто мартышка какая-то! (*Наклоняется к нему.*) Не больно я твоему приходу рада, а нечего делать, вижу, что тебе опохмелиться следует.

Кленин (*с ужасом*). Что?!

Клара. Ты, верно, очень закурил. погоди, я скличу Аришу. Она принесет тебе водочки.

Кленин (*вскакивает*). Довольно! Ни слова больше! Слушайте меня!

Клара. Долго будет?

Кленин. Я знаю, что я дурак, скотина, но вы видите, я пришел сюда, значит мне нужно было прийти.

Клара. Почему я знаю...

Кленин. Я хотел все видеть! Дойти до роковой грани!..

Клара. Вы опять стихами начали. Ничего я не понимаю, что вы толкуете.

Кленин. И зачем тебе понимать, бедная, погибшая женщина? Но неужели у тебя там, внутри, ничего не дрогнуло? Неужели нет для меня ни одного звука?! Аннушка, ты ли это?.. (*Наклоняется к ней.*) Ты ли, спрашиваю!..

Клара. Какая я Аннушка! Я Клара! Видишь ли, как я уехала из Москвы, думаю себе, что за имя такое Анна... Это горничных девок так зовут. Хотела я и фамилию сменить, да фамилия у меня немецкая. Я уж оставила. Вместо Анны Алексевны Кларой Ивановной назвалась. Вот, братец, как!

Кленин (*потерянно*). Хорошо, хорошо! Я не хочу тебя упрекать. Расскажи мне, как ты живешь, что делаешь, все расскажи.

Клара. Что тут рассказывать: живу неплохо, деньги есть, в маскарады езжу. Много вашего брата за мной бегают! Здесь в Петербурге куда лучше Москвы. Там что, деревня, ни одного гвардейца нет, пехтура простая! Не с кем компании вести; а здесь, как же можно сравнить!..

Кленин. Аннушка!

Клара. Да не зови ты меня Аннушкой! Эх наладил. Клара я, слышишь!

Кленин. Хорошо, Клара. Подумала ли ты хоть раз обо мне?

Клара. Что об тебе думать! Экая сласть!

Кленин. Даже не знала, жив ли я?

Клара. Вот еще новости!.. Что тебе сделается. Даром что хмельным зашибаешься, небось живуч!

Кленин. Я провалялся два месяца... как ты меня бросила. Совсем бы погиб, верь мне. Меня спасла только моя натура... до поры до времени. Уехал я в Петербург, работу нашел хорошую... ожил немножко, человеком стал, замечтал, что совсем вылечусь!.. И тут ты подослала ко мне этого семинариста разбередить мою рану!

Клара. Какого семинариста?

Кленин. Элеонского.

Клара. Это он тебе разболтал?

Кленин. А ты не знала! Ха, ха!

Клара. Ей-богу, нет, очень мне нужно к тебе подсылать. Из-за чего, скажите на милость, нуждаюсь я в тебе, что ли!

Кленин. Как же он узнал про меня, почему же он пришел издеваться надо мной, над моей страстью к тебе?

Клара. А! Я ему точно рассказывала, так зря... Он ведь тоже сочинитель. Вот, мол, и я возилась больше году с сочинителем. Больно, мол, уж вы дотошный народ. А я совсем и не слыхала, что ты здесь, ведать не ведала, что он с тобой знаком!

Кленин. Что ж ты ему рассказывала?

Клара. Разве я помню! Так, зря! Всякую штуку.

Кленин. Я тебе все прощаю. Ты не хотела оставить меня в покое... Я не виноват, что пришел к тебе, всякий бы на моем месте пришел и выместил бы свою злобу! Я тебя все еще люблю, Аннушка... Стоило мне войти в эту комнату и опять все то же! Аннушка!.. Ведь это не даром случилось! Я хотел посмотреть, что вышло из тебя? Из моей простой, славной девочки!

Клара. Видишь, какая вышла барыня! *(Встает.)* Чем плоха! Эдаких по всему Петербургу не больно много найдешь. Уланский юлит один, душка! Клялся-божился, таких, говорит, красот, какие у вас есть, Клара Ивановна, у богинь нет, вот как!

Кленин. Я не верю тебе. В тебе разгорелась молодость, жажда жизни! Но ты вернешься ко мне... приходи в мою рабочую комнату, хоть на минуту! Ты умна, в тебе есть правда, ты поймешь, сколько любви...

Клара. Ха, ха! Куда это, к тебе в конуру забираться! Вот новости! Ты поди, чай, здесь еще хуже пробиваешься, нечем в Москве. Знаю я вашу братью. Вон Элеонский, и хорошие деньги получает, да и то в худых сапогах ходит. Зашла я к нему раз: чуть не в подвале живет, грязь, темень, мебели никакой, на тюфячишке валяется, гадость смотреть, вон у Аришки лучше!.. Все-то вы оборванцы!.. Как есть у вас деньги, сейчас в трактир, пропьете все, продебоширите, а там и дуете в кулаки!..

Кленин. Аннушка, ты бы вошла хозяйкой ко мне труженику.

Клара. Большой авантаж! Ну что ты казанской сиротой прикидываешься! Я тебя загубила? От меня ты пить стал? Лжешь все! Всегда ты зашибался, и до меня, и после меня... горбатого одна могилка исправит. А тебе просто хочется на кого-нибудь свалить свое безобразие, вот ты и прибираешь!

Кленин. Ты меня упрекаешь в пьянстве?.. Я тебя спас из грязи, из мерзости... и вот что я заслужил! Ты еще глубже пала!

Клара. Толкуй больной с подлекарем! ^{79} Я Господа Бога возблагодарила, как от тебя сбежала. Я здесь барыня, а от тебя сама было начала мертвую пить. Целый-то день с тобой миндальничать, да стихи слушать, да проповеди твои!.. Я уж тебе сказывала, что дотошней народа нет, как сочинители. Элеонский вон хоть и зашибается, да по крайности никогда ни глупостей, ни стихов не говорит. Проваливай, голубчик, меня не разжалобишь!

Слышен звонок.

Я теперь своим умом живу, да и то ругаю себя за то, что больше года с тобой, чадушкой, загубила! Вот что!

Ариша (*в дверь вполголоса.*) Клара Ивановна!

Клара. Что тебе?

Ариша. Пожалуйста сюда.

Клара. Что за секреты, подойди.

Ариша. Звонят-с.

Клара. Ну так что ж?

Ариша. Это наверняка давешний барин.

Клара. Прими.

Ариша (*показывает глазами на Клеина.*) Вечером не прикажете ли заехать?

Клара. Вздор какой! Теперь пусти. Не Клеина же церемониться!

Ариша. Я впусти, коли так. (*Уходит.*)

Клара. Слава тебе, Господи, что кто-нибудь приехал, а то бы ты меня уморил здесь.

Клеин. Кто это?

Клара. Должно быть, Элеонский.

Клеин. Это на смех?

Клара. Очень мы знали, что ты ввалишься сегодня!

Элеонский (*в шапке*). Ну, мамзель, ничего я не привез.

Клара. Как так?

Элеонский. Никакого Кнопа нет, во-первых... А! Господин Клеин! Нашли-таки путь к Кларе Ивановне...

Клеин. Нельзя ли меня уволить, господин Элеонский, от ваших острот!

Элеонский. С великим удовольствием, это дело партикулярное, до меня не относящееся. (*Кларе.*) Подвез меня извозчик к магазину, спросил я у немца портсигары, выложили предо мной целую дюжину. С лошадиной, говорю, мордой. С мордой, говорят, нет! Я ни одного не выбрал! Вкусу у меня не имеется.

Клара. Дурак какой!

Элеонский. Заполучи ассигнацию и покупай сама! Продолжайте беседу, государи мои, я не мешаю вам.

Клара. Ты что это, Элеонский, болтаешь, как старая баба. Этот вот чадушка ввалился ко мне, и ну меня доезжать: и сговорились-то мы над ним издеваться, и уж чего-чего он тут не насказал!.. Экие вы, сочинители, дрянной народ! Сейчас пошел хвалиться! А я и слухом не слыхала, что он здесь, в Питере. Я бы в Москву укатила, чтобы он только не приставал.

Клеин. Молчи! Я знать не хочу, стакнулась ты или нет с этим господином, но я не позволю тебе осквернять чувство, которое я убил в тебя, жалкая женщина.

Элеонский. Вот фраза-то! Угодники!

Клеин. Да, жалкая! Если бы на другую кто-нибудь потратил столько жертв, забот, дум, всего – всего, что только человек способен отдать женщине, она сохранила бы, по крайней мере, что-нибудь человеческое, добрую память, хоть искру, хоть проблеск чувства!

Ничего в тебе нет! Все ты затопила в разврате.

Клара. Ха, ха, ха!.. Батюшки мои! Слышишь ты или нет, Элеонский? Вот благодетель-то выискался, скажите на милость! Подумаешь, он меня озолотил с ног до головы! Осчастливил на веки вечные! Что ты за меня именье, что ли, записал или ломбардный билет мне подарил! Да я от тебя, кроме кисейных да ситцевых платьев, ничего больше не видала, вспомни хорошенько, коли у тебя хмелем памяти не отшибло! Заботы, говоришь! Скажите, пожалуйста! Ты послушай-ка, Элеонский, как он надо мной мудрил! Учителя мне нанял, арифметике меня учить, фортепьяны поставил, к мадаме я ходила гаммы играть, и никакого у меня к этому ни желанья, ни охоты не было. А по вечерам, сунет книжку: читай ему стихи вслух да учи наизусть, как девчонка в училище. Нечем учителям-то платить, обшил бы меня хорошенько, а то сплошь да рядом в худых башмаках шлепала! Вот его заботы! А туда же, куражится!

Кленин. Презренная тварь! *(Кидается к ней.)*

Клара. Элеонский, выгони его!

Элеонский *(схватывает Кленина за руку).* Идеалист, драться захотели? Женщину бить?! Некрасиво!

Клара. Гони его!.. Гони, он с пьяных-то глаз прибьет!.. *(Убегает.)*

XII

Элеонский *(отпуская руку).* Вот как, господин Кленин! Недурен пейзажик!

Кленин. Что вам угодно, милостивый государь? Судить, что ли, вы пришли нас с ней? Оттого, что вы теперь ее любовник, вы воображаете, что я вам позволю врываться в мой внутренний мир?.. *(Вне себя.)* Никогда-с! Слышите ли, никогда-с!

Элеонский. Тише, барин, если будете так орать, я вас в самом деле спущу!.. Что вы, с цепи, что ли, сорвались: я такой же любовник этой женщины, как и всякий другой, да вы-то хороши! Поэт, гуманист! Пришел карать падшую женщину, а она его отделала, как шута горохового!

Кленин. Вы защищаете эту презренную тварь! Прекрасно, господин реалист! Освящайте проституцию! Этого еще не доставало!

Элеонский. Презренная тварь! Проституция! Вы думаете, что эта самая Клара презреннее нас с вами? Мы-то что делаем: стихи и прозу поставляем за деньги, по пяти копеек за строку, по пятидесяти рублей за лист! Постыдитесь, господин Кленин, выкраивать бессмысленные слова! Проповедуйте мораль, да не так, чтобы курам на смех было!

Кленин. Вы не смеете мешаться в мое кровное дело! Я знаю, что я вложил в любовь к этой женщине.

Элеонский. Тем постыднее для вас.

Кленин. Постыднее?

Элеонский. Вы слышали этот здоровый смех над вашими барскими затеями! Ох, идеалисты!.. Так вас и нужно школить!.. Посмотрите, какой пустяковиной проникнуты все ваши идеалы! Бабу нужно было приучить работать, а они музыке ее просвещают, стихам, хорошим манерам! Кто же виноват-то, господин Кленин, что из вашего развивания вышел такой вот экземпляр? Она, что ли?.. Вы, вы одни и бездельный ваш идеализм! Для кого вы ее готовили? Для собственного услаждения! И ни для чего больше! А не удалось, кричите:

презренная тварь! Вот вам прямое доказательство бессилия ваших затей, порыва и всякой ерунды! Уж если не могли направить одну бабенку, так куда же вам общество спасать! Жалкий народ! Верят, что из черного по-щучьему велению выйдет белое!

Кленин. Да, мы верим и презираем вас, лжеучители!

XIII

Клара (*показывается*). Унялся, что ли, или нет? Элеонский, что ж ты его не спустишь?

Элеонский. Уйдет и сам.

Клара (*подходит ближе*). Я теперь вижу, зачем ты пришел, чадушко. Тебе, видно, жутко пришлось, так ты хочешь меня к себе перетащить, да на мои денежки пьянствовать, так вот что – съешь!.. (*Делает ему фигу и убегает.*)

Кленин. Как!! (*Кидается за ней и вдруг останавливается неподвижно.*) Побит! Безумец, безумец! (*Со слезами.*) Вот чего дождался?! (*Опускается на кресло.*)

Элеонский (*пристально смотрит на него*). Да, это сильненько! (*Подходит.*) Полноте, Кленин, не унижайтесь, вы не дитя, вы видите, что с такими женщинами не рассуждают.

Кленин (*повторяет*). На мои денежки пьянствовать!

Элеонский. Мне вас жалко. Я виноват перед вами... Бросьте, идемте отсюда!

Кленин (*вскакивает*). Что-с! Жалость! Этого еще не доставало! Прочь от меня! Не хочу я вашей фарисейской жалости!.. Я стерплю ругательство от подлой твари, но я задохнусь от вашего сатанинского великодушия... Насладились позором идеалиста?! Подите, трубите по всем кружкам! Но знайте, что мы не отдадим сотой доли такого позора за ваш бесчувственный покой!..

Убегает. Элеонский смотрит ему вслед.

Актъ четвертый

Сцена 1^я

Дѣйствующіе:

Квасова.Страндина.Зиновскій. Пошдловенск

/Дѣйствіе въ квартирѣ Квасовой. Мясная комната. Прямо входная дверь. Налѣво этажка и антресоли. При поднятіи занавѣсы на сценѣ тѣнь./

I.

(Квасова и Страндина входят)

Квасова. /ощупываетъ стѣну на стѣнѣ/ Какой холодъ... куда это спилки дѣлись... /замыкаетъ/ Хотѣ бы стѣну

Квасова.

Страндина.

Элеонский.

Действие в квартире **Квасовой**. Тесная комната. Прямо входная дверь. Налево лесенка в антресоли. При поднятии занавеса на сцене темно.

Квасова и Страндина входят.

Квасова (*ощупывает свечу на столе*). Экой холод... Куда это спички делись... (*Зажигает.*) Хоть бы снег поскорее выпал... Ты не устала, Страндина?

Страндина. Как не устать, целый день спины не сгибаешь...

Квасова. А я так совсем измучилась. (*Присаживается.*) Метранпаж на меня расвирепел. Три раза заставлял формы перетаскивать. В форме-то больше пуда весу, да...

Страндина. Чайку попьем?

Квасова. Чайку-то?.. Надо бы... (*Подходит к комоду и достает чайный ящик.*) Ни чуточки нет. Только два куска сахара.

Страндина. А финансы как?

Квасова. Я на экваторе. Мы думали сегодня расчет будет, ан, выходит, подожди.

Страндина. Уж это всегда.

Квасова. У вас в переплетной лучше. Вы сами себе господа.

Страндина. Велик барыш! Десяти рублей не приходится на человека.

Квасова. Тяжкие грехи!.. Ха, ха, ха! Ничего, нынче побудем на антониевой пище, а завтра расчет; коли не заплатят, мы бунт подыдем в типографии.

Страндина. Вам все-таки кормиться можно... А вот Красихина-то без работы осталась. Хорошо еще, что Элеонский деньги-то выручил. Видела ты его?..

Квасова. Нет.

Страндина. Видно, закутил. Никто его не видал. Он только зашел к Красихиной, отдал деньги, да Категорийского куда-то водил к месту определяться.

Квасова. Я ему тогда говорила, чтобы он не ходил к Карачееву. Все на меня накинудись... И он закричал... Так мне больно было!

Страндина. Есть оказия огорчаться... Этак двух дней не проживешь. Меня обругают, а я сдачи дам. Я вот как рассуждаю... Так, значит, чаю нема?

Квасова. Нема.

Страндина. Я спать залягусь. Только, пожалуйста, ты меня завтра разбуди, как пойдешь в типографию.

Квасова. Хорошо. погоди, у меня тут в комодe осталось что-то съестное. (*Идет.*)

Страндина. Давай, давай!..

Квасова. Два пирожка. Бери оба, мне не хочется.

Страндина. Не хочется?.. Не великодушничай, душа моя! (*Ест очень скоро.*) Я хоть бы еще полдюжинки уплела...

Квасова. Ха, ха!.. Зато проснешься вовремя!

Страндина. Насчет этого неисправима: хоть сытая, хоть голодная, чуть прилегла, кончен бал! Как убитая сплю. Прощай. (*Поднимается.*)

Квасова. Право, съешь пирожок. Я не хочу.

Страндина (*сходит*). Коли ты очень упрашиваешь, давай!...

Квасова. Ха, ха! Так-то лучше.

Страндина (*ест и поднимается опять*). Спасибо! Червячка заморила! Ложись и ты! (*Уходит.*)

II

Квасова. Что это я все в пальто. (*Снимает шляпку и салон.*) Экий завидный характер у Страндиной! Ничто к ней не пристаёт. А я вот вспомнила, как он на меня крикнул, и слезы к горлу подступают... Мало, видно, того, что тогда до утра проревела. Идите, говорит, за сенатского регистратора и солите огурцы!.. Вот он как на меня смотрит!.. И в самом деле, быть может, ни на что я больше не годна, глупая, ничего не читала, говорить по-ученому не умею, знаю только свои шпоны да квадраты... ^{80} А кто его любит, там, у них? (*Останавливается, махнув рукой.*) Да что толку!.. У всякого есть своя гордость, и у меня тоже!.. Хорошо еще, что иной раз посмеешься. В типографии у нас девицы веселые такие... а то бы ой, ой... как не вкусно... каждый-то день этаким манером ляжку тянуть!.. Раздеться, да и спать!.. (*Начинает раздеваться.*) Я метранпажу подарю галстук, он франтить любит, а то совсем меня заклевал, исправительные наказания все выдумывает.

Звонок.

Кто это? (*Оправляется.*) Войдите, не заперто.

III

Элеонский. Дома?

Квасова. Вы, Элеонский? Вот не ожидала!

Элеонский. Неприлично?

Квасова. Вздоры какие... Где вы пропадали?

Элеонский (*садится*). В преисподней земли. Я вот зачем пришел, Квасова! Категорийский будет у вас в типографии работать. Завтра он придет. Я его не увижу. Передайте ему вот эти деньги. (*Отдает.*) Ему нужнее, а я-то спущу.

Квасова (*берет*). Хорошо.

Элеонский. Вам не нужно ли?

Квасова. Благодарю. Я не нуждаюсь.

Элеонский. Да вы не церемоньтесь. Я ведь спущу же... после отдадите.

Квасова. Вы мне лучше расскажите, как вы побывали у Карачеева?

Элеонский. Что тут рассказывать! Пришел, всех знаменитостей обругал. Меня по шее выгнали. Вот и все.

Квасова. Совсем, значит, поссорились?

Элеонский. Эка невидаль! Довольно работать на подлецов.

Квасова. Где же будете помещать?

Элеонский. Нигде.

Квасова. Ведь пить-есть надо?

Элеонский. Подберут где-нибудь, стащут в больницу... Сказка недолгая...

Квасова (*подходит к нему и опирается рукой об стул*). Григорий Семеныч! Я вас просила не ходить к Карачееву... Вы видите: я не ошиблась!..

Элеонский. Ну так что ж?

Квасова. Вы меня оборвали, точно будто я от одной пошлости вас удержала!..

Элеонский. Знаю... Скотина!.. Накинулся на вас... Идти надо было, об этом что толковать... Мне самому невтерпеж стало, а вы по доброте тогда... известно...

Квасова. Ну хорошо. Теперь вам нужно помириться.

Элеонский. С кем?

Квасова. Да с редакцией.

Элеонский. Нет-с. Я все стерплю, но не торгуй человечьим мясом, не издевайся над нами в то время, как нашим товаром барышничаете. Вы девушка, вы этого не понимаете. У вас сердце отходчивое. А у меня нет.

Квасова. Больше некуда деться, а вам надо писать.

Элеонский. Совсем не надо. Что вы думаете, мне это радость доставляло, сласть особенную? Этак, сударыня, литературные генералы вензеля выделывают, а не наш брат. Я пишу про то, как меня били да пороли, как из меня зверя делали, чего нашему брату стоит человеком быть, по-звериному не кусаться... Да-с!.. А вы думали, как? Сесть к резному столу перед малахитовой чернильницей и строчить золотым пером по глянцовитой бумаге?.. Всякие изящные мысли, какие придут, изображать... восход солнца, плеск волн да золотые кудри!.. Ох, этаким манером куда бы легко было. Да не умеем мы, на то надо барскую натуру, деликатную!

Квасова. За что же вы одни пострадаете, Элеонский?

Элеонский. Я не малолетний, в полном разуме, стало знал, что делал. Свежий человек, пожалуй, обругает: экой балбес, экой урод, ровно с цепи сорвался, пошел себя героем выставлять... Вздор все это, барышня... Давно меня мутило сказать вам правду! Я только к случаю придрался, вот и все.

Квасова. Я глупа, не понимаю.

Элеонский. Где вам понять? Вы через это не проходили... Я перед нашими не стал бы в откровенности пускаться, а вам скажу.

Квасова. Вы разве их боитесь?

Элеонский. Никого я не боюсь, а не хочу, чтобы другие куражились. Я простой бурсак, а из моих слов выведут черт знает что! Вы попроще будете сердцем, да к тому же нам с вами вряд ли больше увидаться.

Квасова (*меняясь в лице*). Как?..

Элеонский. Так мне сдается... Да это к стороне!.. Меня червь-то точит не со вчерашнего дня. Как посмотришь вокруг себя: все вы еле дышите, за соломинку цепляетесь,

ветер дунул – и нет вас! Бьются, копят, чахотку наживают, а много коли кто пятьдесят рублей в месяц заработает!.. Вера есть, мысль не умрет, да сил мало... да, мало!.. Я хоть и распинался у Карачеева, а по душе сказать: жидко, мелко, чахло! Да и неоткуда взять богатырского роста, кто его дал? Самим надо добывать живую воду!.. Вот, сударыня, как все это восчувствуешь да на свою-то жизнь оглянешься... ох, как сладко!..

Квасова. Никуда не убежишь!..

Элеонский. Вот у меня две бумажки остались. На них много дадут прохладительного.

Квасова. Не пейте... Ведь это самоубийство...

Элеонский. Откуда вы это вычитали? Не говорите громких слов. Убивают себя, сударыня, люди ученые, а наш брат угощается на пиру жизни, как в стихах пишут!.. *(Встает.)* Сам я себе смешон подчас, что за жертва очистительная такая! Довольно своих мытарств, чего еще за других-то распинаться!.. Ан нет, тянет, мутит, подушки по ночам грызешь, да-с... Мерзость запустения! Нет просвету, нет пути!.. Сгинем все, как зелие, все всодим в песок да в хрящ! Верьте мне!

Квасова. Что вы это... С вашим талантом, кажется, грешно жаловаться... Опять же, вам цену хорошую дают, Григорий Семеныч.

Элеонский. Какой у меня талант, нет у меня таланта! Да и что такое талант? Я не знаю... Платили мне, точно. Это-то и мерзко, сударыня! Кровь свою по капле продавал. Вся вытекла, и нет в тебе ничего! Что в тебе накопилось злости да горечи, вылил... и забрал денег больше всех, кто потел да кряхтел над переводами да над статьями! А в тебе что? Знания нет, неуч ты, думать не учился, ничего не читал, ничего не видал, кроме вонючей конуры, где из тебя все человеческое выколачивали!.. Вот эти деньги! Жгут они! Прахом они пойдут, пропить их нужно!.. Из-за чего же биться... Днем раньше, днем позже, а израсходуешь, ничего не останется. Я все написал, больше мне не об чем писать... мысль у меня нет, а выдумывать не умею. За сказки рубли собирать – совесть зазрит!.. Околевать надо!.. И коли кто из приятелей надгробное слово смастерит да воскликнет: погиб, дескать, во цвете лет, сколько унес с собой дум и образов – соврет он, бессовестно соврет! Ничего во мне нет, все горе свое я продал, остатки пропью и кончен бал!..

Квасова. Элеонский, это ужасно! *(Со слезами.)* Это хуже смерти! Я не верю вам! *(Отворачивается.)*

Элеонский. Надо верить. Вы девушка, вам сдается, что человеку стоит только подняться на ноги, и все от него отскочит... как шелуха! Нет, барышня, прикованы мы железной цепью к помойной яме своих скверн!.. Покажите мне такого горюна из наших, чтобы взмахом одним преобразился в праведники. Посмотрел бы я на него хошь в щелочку... Вот она предо мною – вся жизнь моя, ядовитая: халат пестрядинный, сапоги дырявые, холодный чулан, хлеб недопеченный, соленые розги, детские горючие слезы! А там злость, подлость, ехидство! А там мать-сивуха, скотские радости, зверство в образе человеческом!.. И отсюда выйдет свет, и эта прорва родит плод!? Ха, ха! Пускай кто другой возверует в такое чудо, а мы пришибены насмерть!..

Квасова. Неужели же никого не было около вас, Элеонский? Хоть бы чувство какое, хоть бы радость?..

Элеонский. Ничего-с. Чувств нам не полагается. Родных я не знал. Любить не учился... Когда стал своим умом жить, все нутро из меня выедено было!.. И вот этикие-то сласти поведал я грамотному люду! Я от них живьем задыхался сам, а тут за деньги стал публику потешать!.. О, дьяволы! Загребаете вы нас на скромную приманку, кидаемся мы алчной

утробой на радужные ассигнации... и давай строчить, и давай из себя всевыдавливать, в сочинители себя производить! (*Комкает в руке деньги.*) Не увидят больше глаза мои такого срама! Последние бумажки резнули меня по живью!..

Квасова. Это гордость... Да! Вы никого не искали, никого не любили!

Элеонский. Ха, ха, ха! Любовь!.. С таким чадушкой возиться, как я! Во мне семь чертей сидит, да-с! Вы меня теперь вот тихим видите пять минут, и то я на вас унынье навел.

Квасова. Что вы!

Элеонский. Да уж так-с. А женщина, которая меня полюбит... Да она сама с тоски извелась бы, на меня глядя! Об чем бы я с ней говорить стал? Нежностям меня не обучали, ласки мои – медвежьи ласки... Коли я люблю, любовь моя скажется тяжело, не сладко, бурсой отшибать будет, вот что господин Карачеев про мой слог изволят говорить... Откровенничать мне противно, нутро свое душевное раскрывать, и любимой женщине стал бы вот такие же сладкие шутки рассказывать, как и вам теперь... Да это все в виде благоприличном. А под наитием спиртной горечи!.. Не приведи Господи!.. Нет, барышня, штука эта не для нас выдумана!

Квасова. Нет, Элеонский, все это не так, а если бы было так, нам всем ложись и умирай! Люди, коли в них есть талант, должны жить и нас вести, а закопай они себя заживо, все, кто чванются, кто теперь издевается над нами за то, что мы работаем в типографии, – все это закричит: вот, посмотрите, ваши умники-то, они сами себя выдают, сами кричат, что они дрянь! Вот что вы сделаете такими словами.

Элеонский (*пристально взглянув на нее*). Что вы на себя убожество попускаете, Квасова! У вас голова золото... И сердце тоже.

Квасова. Я знаю, что я правду говорю.

Элеонский. Да, правду, да не обо мне. Я сказал вам: вера есть в наших, мысль не умрет, много народу готовится к честному делу! Не умрет добро, не умрет ученье, не умрет любовь к тем, кто забит и голоден! Видите, во мне жива надежда за других. А наш брат, ежовый бурсак, околеет, ибо ему следует сгинуть во цвете лет!

Квасова. Коли вы так про себя говорите, то что же другим-то остается?

Элеонский. Ха, ха! Что я за представитель такой? Я всех умнее, что ли? Во мне вся наука, все мысли, все доблести?! Кабы оно так было, я бы сказал: провались все молодое поколение, нечем изнывать от своей душевной мерзости!.. Все лучше меня, да! Они живи, а я – долой!

Квасова. Да после того, из-за чего же мы-то бьемся? Из-за куска хлеба, по девяти гривен за сто строк набору получать...

Элеонский. Из-за того и бьетесь, и долго еще будете биться!.. Есть девушки, сотни их, по двугривенному в день зарабатывают! Да еще бьют их в придачу.

Квасова. Элеонский, разве нет у вас другой утехи, кроме... (*Останавливается.*)

Элеонский. Кроме чего, досказывайте!

Квасова. Кроме вина.

Элеонский. Хороша утеха!..

Квасова. Зачем же вы пьете?

Элеонский. Вы опять! А что же мне больше делать прикажете? Свободную волю проповедовать? Захотел, мол, и кончен бал! Капли в рот не возьму! Это у немцев за морем в ходу, а у нас на ком зарубка положена, с той зарубкой и на погост снесут! Да-с.

Квасова. Почем знать, Элеонский, я, быть может, вылечу вас... (*Смолкает вдруг.*)

Элеонский (*протягивает ей руку*). Спасибо! Славная вы барышня. Простите же мне тогдашнюю выходку!.. Но послушайте вы меня в последний раз: не подходите близко к беспутным горюнам, как я! Вы работящи, с голоду не умрете. Об учености больно не сокрушайтесь. Голова у вас посветлее многих, что из Бокля мысли выкрадывают! (*Встает.*) Прощайте! Я рад, что зашел к вам, теперь запить, ровно как полегче будет...

Квасова (*удерживая его*). Григорий Семеныч!.. Коли так!.. Я бы хотела лучше с вами вместе сгинуть...

Элеонский. Ха, ха! Вот тебе на! Я греха на душу не возьму... Пора идти, первый час! Отдайте деньги Категорийскому. Да чтоб меня не думал искать! Не забудете?

Квасова (*машинально*). Не забуду!

Элеонский. Покойной ночи. (*Надевает шляпу.*) Гойда! (*Уходит.*)

IV

Квасова (*сперва смотрит ему вслед, потом подходит к кровати*). Не надо меня! Сопьется!.. Сгинет!.. Ни на что не годна я! Зато, видите ли, работяща, с голоду не умру! (*Бросается на кровать и громко рыдает.*)

Сцена 2

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Кленин.

Элеонский.

Городовой.

Улица. Налево видна вывеска трактира, освещенная фонарем.

I

Городовой (*останавливая проходящего Кленина*). Не приказано курить!^{81}

Кленин. А мне хочется.

Городовой. Не приказано, вам говорят!

Кленин. Видишь, я докуриваю папиросу: как докурю, так и брошу!

Городовой. Коли фордыбачить станешь, так я в контору сведу! Много тут вашей братии шляется, мазуриков.

Кленин. Ты думаешь, я мазурик?

Городовой. Одежка вся развалилась, а туда же, в шляпе, ровно чиновник!

Кленин. А, одет-то я дурно! Эх, брат, в таком звании состою, что хорошей одежи и не на что обзавести...

Городовой. А по питейным, небось, есть на что шляться?

Кленин. То дело дешевое...

Городовой. Лясы-то точить нечего! Бросай папироску!

Кленин. Вот еще разок затянусь...

Городовой (*вырывает у него из руки*). Брось, говорят!

II

Элеонский (*выходит из ворот*). Что за история?.. Ба, господин Кленин!

Кленин (*бросает папиросу*). Ну, видишь, иди своей дорогой!

Элеонский. Стража обеспокоил?

Городовой. То-то! Благодарите Бога, что еще в контору не свел. (*Уходит.*)

III

Элеонский. Прелестная случайность!

Кленин (*подходит к нему близко*). Лучше бы она нас не сталкивала, господин Элеонский!

Элеонский. Не ударяйтесь в чувствительность, господин Кленин. Мы в публичном месте.

Кленин. Да, вот сейчас городовой хотел меня в контору стащить, мазуриком обругал, все это в порядке вещей... Видит, оборванец... значит дрянь какая-нибудь... А скажи ему я, что ты, дескать, братец, с сочинителем говоришь, он бы еще пуще оборвал меня! Но вы литератор! Вы меня обругаете, я знаю, лучше городского.

Элеонский. За что?

Кленин. Вы видели мое неистовство, мое безумие! Это вам доставило, разумеется, великую радость.

Элеонский. Полноте, барин, слова-то нанизывать. Я ведь, батюшка, не зверь. Я же к вам тогда подошел, да вам угодно было оттолкнуть меня. Мы, плебеи, ваших тонких страданий не можем понять.

Кленин. Да, вы правы!.. Я поступил, как пакостный эгоист!

Элеонский. Не больно распинайтесь, не нужно!

Кленин. Нет, нужно, господин Элеонский... Я не хитрю с вами, я начистоту говорю. Если б еще одним градусом выше, я бы задушил вас.

Элеонский. За что же это, позвольте спросить?

Кленин. На это не отвечают в минуту страсти.

Элеонский. Коли она имеется, а мне сдается, что у вашего брата ее нет.

Кленин. Есть ли, нет ли, но я почувствовал, что вы хороший человек.

Элеонский. Покорно спасибо.

Кленин. Да, хороший, и хоть бы вы были мой лютый враг, все равно, злобствовать против вас не могу.

Элеонский. Вовремя схватились за ум! За что злобствовать-то, скажите на милость!

Кленин. Не за что, знаю и чувствую теперь так же ясно, как и то, что вы хороший человек.

Элеонский. Объясняетесь вы со мной, господин Кленин, позднеенько, точно Репетилов с Чацким^{82}.

Кленин. Не язвите меня, я застрахован от ваших острот. Я перед вами виноват, и больше ничего. Мне вовсе не стыдно повторить слова враля Репетилова, что у меня к вам:

Влечение, род недуга,
Любовь какая-то и страсть...^{83}

Элеонский. Все это прекрасно, только я вам вот что скажу: позднеенько теперь, да и холодногато.

Кленин. Что стихии! Мы живем не для того, чтобы им подчиняться.

Элеонский. Одначе, лучше бы зайти в заведение.

Кленин. Молодой человек! Вы хотите меня напоить и потешиться над моими сантиментами? Нехорошо! Смейтесь надо мной сколько душе вашей угодно. Вы меня видели в моем безумии, мне нечего перед вами стыдиться. И вот я говорю вам еще раз: эта женщина не стоит гроша медного, в ваших глазах она презренная тварь, она простая, глупая, развратная баба, а я ее все-таки люблю... Люблю не ее, не ее тело, не ее глаза, руки, плечи, а то, что я вложил в мою страсть, в мои образы, в мои думы! Я буду до могилы любить то, что я похоронил заживо: мою молодость, мои упования, мои силы!

Элеонский. Ха, ха! Из хрестоматии не желаете ли восклицание:

О, моя юность, о, моя свежесть!^{84}

Кленин. Смейтесь, сколько душе вашей угодно, и надо мной, и даже над великим поэтом! Его восклицание вылетело из душевной глубины. Но я не верю вашему смеху!

Элеонский. Это как?

Кленин. Да, молодой человек. Смех ваш – тоска. Вы не смеялись, когда у вас дрогнул голос подходя ко мне!.. Рыбак рыбака видит издалека! Я знаю звук сердечных язв, я знаю их! Меня не проведешь... Вы – горюн, такой же, как и я!

Элеонский. Вам разве хочется этого?

Кленин. Вот видите, вы не оправдываетесь, потому что честны, вы не умеете лгать! Вы такой же горюн, повторяю я. Ваши силы потрачены на горечь, на желчь; любить вам хочется, а вы ненавидите, плакать хочется, а вы хохочете злорадным смехом...

Элеонский. Полноте причитать! Хоша бы я и был горюн, вам-то какая от этого сласть? Эк в вас въелась замашка выворачивать нутро свое! Отечеству услугу мы принесем, что станем исповедовать всенародно наши немощи! Жизнь подла, да лучше-то она не станет от наших декламаций! Кабы вместо охов да ахов, стихов да монологов вы нам завещали дело, мысль, бодрость, свежие мозги да здоровые мышцы, мы бы не слонялись без пути, не рассуждали бы с вами, барин, посреди улицы, перед лицом вот этого трактирного заведения!

Кленин. Камнями побить всякого можно, Элеонский!.. Но бросим все это!.. Я не хочу спорить, не хочу враждовать с вами... Мне не стыдно признаться вам, что я слабый, презренный пьянчужка, да... мало этого, я не могу стать выше действительности...

Элеонский. Говорите проще!

Кленин. Я еще пойду к ней... я не могу... я до тех пор буду к ней ходить, пока не лягу там костью!

Элеонский. Это вы об Кларе, что ли?

Кленин. Да!

Элеонский. Вот, барин, хватился!

Кленин. Как?

Элеонский. Да разве я вам не сказывал?

Кленин. Ничего!

Элеонский. Ведь птица-то улетела!

Кленин. Как?

Элеонский. По чугунке. Приказала кланяться и благодарить. Это вы ее больно уж, дяденька, разбередили. Ну что хорошего? Жила себе в свое удовольствие, и вдруг спугнуть такую паву. К ближним у вас никакой любви нет!

Кленин. Не может быть, что вы говорите?

Элеонский. Очень может быть. Захожу я вчера. Спрашиваю: Клара Ивановна? Нет, мол, уехала. Куда? В Киев, с офицером.

Кленин. В Киев с офицером?

Элеонский. Да, в Киев с офицером!

Кленин. Это последний удар!

Элеонский. Кому?

Кленин. Не вам, конечно, а мне. А коли так, завьем горе веревочкой!.. Вот что я вам скажу, Элеонский. Когда вы в первый раз пришли ко мне, растравили мою рану и, насмеявшись досыта, победоносно удалились, я кинулся за вами! Я кричал моим приятелям: иду пить с циниками, иду пить с новыми людьми, заставлю их плакать горячими слезами! Я не нашел вас!.. Не привелось мне тогда пить с вами! И вот теперь мы столкнулись здесь, вы мне принесли эту вест!.. Все собралось одно к одному. Теперь вы не уйдете от меня! Без злобы, без сарказма, я снова говорю: идем пить! Больше нам ничего не осталось! Грызть себя поздно! Думать о спасении глупо!

Элеонский. Наконец-то сказал настоящее слово!

Кленин. А! Молодой человек! Я знал, я чуял, что вы на него откликнитесь! Внутренний голос говорил мне, что вы, Элеонский, тоже еле дышите, и что сегодня, вот сейчас вам нужен был такой человек, как я!

Элеонский. А и то! Правда!.. Быть может, теперь мне никого кроме вас не нужно!

Кленин. Куда ж идти?

Элеонский. А вон двери! Недалече! (*Бьет себя по карману.*) Вот они, последние бумажки, добытые подлым ремеслом!^{85}

Кленин. Сладким трудом творчества! Ха, ха!

Элеонский. Засмеялся и ты, идеалист!.. Посмеешься же еще за чашей зелена вина! Да так чтобы небу было жарко! Я тебя подкосил новостью насчет мамзели, зато порадуйся!.. Я барышнику Карачееву не батрак, и никому больше не батрак! Не читать тебе мои маранья, не портить крови, не поучать меня эстетике! Ни взад, ни вперед мне ходу нет!

Кленин (*указывая на фонарь*). А сюда?

Элеонский. Только сюда!

Кленин. Чего же еще! Кто страдал, тому везде сладко, везде простор и благодать! В горе жить – некручинну быть!^{86}

Элеонский (*указывая на трактир.*) Вселенский путь, предел его же не преjdeши!

Кленин. А запрут?..

Элеонский. Нас с тобой все пустят, потому мы коренные горюны... Гойда!

Входят в трактир.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Кленин.

Элеонский.

Гудзенко.

Сахаров.

Подуруев.

Квасова.

Категорийский.

Дежурный доктор.

Фельдшер.

Служители.

Действие в больнице. Просторная камера. Налево и направо по кровати.

Актъ пятый

Дѣйствующіе:

Кленинъ.

Элеонскій.

Гудзенко.

Сахаровъ

Подурчевъ.

Квасова.

Категорійскій

Дежурный докторъ.

Фельдшеръ.

Служители.

1 Дѣйствіе въ больницѣ. Просторная камера. Ка-
лева и направо по кровати.)

Кленин на кровати. Против него **Элеонскій** спит спиной к публике.
Гудзенко входит.

Кленин (слабым голосом). Здорово!

Гудзенко. Ну как ты?

Кленин. Плохондрос. Машина совсем развинтилась.

Гудзенко. А лицо точно светлее стало.

Кленин. Добросердый хохол, все с утешениями... Нет, братец, чует моя внутренняя, что отсюда мне не выйти.

Гудзенко. Полно, друг. Теперь-то и работать. Вся надежда на тебя.

Кленин. Сосуд скудельничий ^{87} – вот что я! Скажи-ка ты лучше мне про себя что-нибудь... полумертвому человеку сладко об живом прислушать.

Гудзенко. Скверно! Некуда деться. Куда ни придешь – везде кислые рожи. Не с кем душу отвести, все это переругалось!

Кленин. А твоя южная душа любви и единения просит! Видишь ты, судьба-то что делает, Гудзенко, положила нас с Элеонским в одной камере...

Гудзенко. Да нешто ссоритесь?

Кленин. За что? Мы с ним давно приятели, да он же все спит.

Гудзенко. То-то, друг. Противно. Я просто, как задумаюсь, хоть вон беги из Петербурга. Таланты мои невелики, пишу, что Бог на душу положит. Все же есть во мне Божия искра, хотелось бы высказаться, свою малую лепту положить!.. Невозможно! Ты, говорят, Гудзенко, и нашим и вашим служишь. Да нешто я виноват, что у меня сердце есть: знаю я двоих-троих в том лагере, вот Элеонского, еще кое-кого... Ведь они же не дикие звери, не разбойники, бьются не из корысти одной. Теперь опять с вами хорош. Вот промежду двух огней и вертись. К своим хохлам пойдешь, та же песня: ты тянешься за москалями, нечем своему делу служить, да почнут перекоряться кто кого лучше по-южнорусски говорит! Народ все душевный, ты сам знаешь, хороший народ, а иной раз слушаешь-слушаешь да плюнешь! Да тут еще собаками травят в газетах! Сепаратисты, кричат, отечеству изменники! На виселицу их!.. Вот и расхлебывай, друг!.. Иному, быть может, ничего, а простому человеку с душой ой, ой, как жутко приходится! ^{88}

Кленин. Нет любви!

Пауза.

Гудзенко. Не нужно ли чего тебе? Деньги-то есть ли?

Кленин. Зачем мне деньги. Спасибо. Вот только еда прискучила. Фельдшер все обещается сменить порцию.

Гудзенко. Ты что ж доктору не скажешь?

Кленин. Говорил, нельзя, видишь ли, мне тяжелой пищи.

Гудзенко. Позвать, что ли, фельдшера?

Кленин. Позови.

Гудзенко. Сейчас. *(Выходит.)*

П

Кленин. Гудзенко первый вспомнил. Экой у них запас теплоты-то, у хохлов. Только не обнадежишь меня! *(Декламирует.)*

Быть тебе травушка посеченной,
Лежать тебе травушка посеченной...

Элеонский (*во сне*). Дьяволы! Кровь нашу пить! (*Перевертывается и вскакивает.*)
Передущу!.. (*Протирает глаза.*)

Кленин. Сон видал, Элеонский?

Элеонский (*машинально*). Да, сон!.. А, это ты! (*Ложится и опять засыпает.*)

Кленин (*глядя на Элеонского*). По одной тропе шли мы с тобой, а больше меня будешь перед смертью биться!.. Натура-то молотками сбита... землю бы пахать надо было тебе... И остался бы ты цел, и хмель не одолел бы земского богатыря... Да ты все еще поживешь, поработаешь, а я... вниз, вниз!..

Гудзенко. Ты что ж доктору не ехалешь?

Кленин. Говорилъ; нелзя, видимъ-ли мыть
тяжелой нищи.

Гудзенко. Позвать кто-ли фельдшера?

Кленин. Позови.

Гудзенко. Сейчас /выходит/.

II.

Кленин. Гудзенко первый вспомнилъ. Какой
никогда запасъ теплоты-то, у холодовъ. Только не
обнадежишь меня?

/декламирует/

Быть тебе травушка постылой

Ложать тебе травушка постылой...

Змеонскій /во слп/ Дьяволы! Кровь нашу пить!

/переворачивается и вскакивает/ переднюю!... /протираетъ
глаза/

Кленин. Сонъ видный, Змеонскій?

Змеонскій. /машинально/ Да, сонъ!... А, это ты!

III

Фельдшер (входя за Гудзенко). Чего вам еще?

Кленин. Да я вот насчет порции. Противна мне больно манная каша.

Фельдшер. Мало ли что противна! Пьющим всем молошная пища противна.

Гудзенко. Вы бы, любезнейший, уволили больных от замечаний.

Кленин. Оставь, голубчик, что за важность. Почему ж ему меня и не уличить в пьянстве! На то он фельдшер, на то я сочинитель.

Фельдшер. Говорите толком, чего вам, мне некогда.

Кленин. Да вот бы соленьячего чего-нибудь...

Фельдшер. Здесь ведь не заведение, маркитантов нет с закусками.

Кленин. Остроумен он, право, даже приятно слышать. Да все-таки бы, голубчик, нельзя ли смилоститься насчет съестного.

Фельдшер. Просите у доктора, это не наше дело. Вот сейчас визитация будет.

Кленин. Доктор откажет.

Фельдшер. А я как же могу? Я свою обязанность знаю.

Кленин. Да ведь это для моего желудка.

Фельдшер. Наука-с! По науке поступают господа практиканты, следственно вы подчиняться должны. (*Уходит.*)

IV

Кленин. Прелестный мужчина!

Гудзенко. Как это ты, друг, позволяешь всякой дряни так с собой обращаться!

Кленин. Как дряни? Ты слышал, как он выражается! Молодой человек отлично образованный! Мы потому и погибли, Гудзенко, что науки не уважали, а сей фельдшер науку уважает, меня же, ничтожного сочинителя, уличенного в пьянстве, презирает от всего сердца. Так должно быть, душа моя. Спроси-ка его что-нибудь про Мошотта ^{89}, он тебе целиком из учения о пище будет валять; а мы слушаем, как дураки, и ничего не понимаем, просим соленьячего, а нам дают манной каши да приговаривают, что, дескать, коли бы вы спиртное в изобилии не употребляли, молочная пища не претила бы вам... А разве не правда? Сушая истина!.. Скинем же шапку перед наукой и замолчим!

V

Квасова (*заглядывает в дверь.*) Извините, господа.

Гудзенко. Кого вам угодно?

Квасова. Элеонский... писатель, здесь лежит?

Гудзенко. Вот он.

Квасова. Вы при больнице служите?

Гудзенко. Нет, я пришел его навестить! (*Указывает на Кленина.*)

Квасова. Он спит, кажется?

Гудзенко. Спит.

Квасова. Так я подожду, будить не надо.

VI

Фельдшер (*входя с шумом*). Кого вам угодно, сударыня?

Квасова. Элеонского.

Фельдшер. Теперь не время, чай. На это есть часы. Сейчас будет визитация. Не угодно ли вам пожаловать отсюда.

Квасова. Я не буду мешать.

Фельдшер. Не приказано-с, вам говорят, извольте идти!

Квасова. Да мне необходимо повидаться с господином Элеонским.

Фельдшер. Получите дозволение от дежурного врача. Дождитесь в приемной, а сюда нечего прямо идти, не спросившись. (*Указывает на дверь*.) Пожалуйста!

Квасова. Я подожду. (*Уходит*.)

Фельдшер (*возвышая голос*). Приготовиться к визитации! (*Подходит к Элеонскому*.) Элеонский, довольно вам спать, meningitis наспите! Господин Кленин, можете обратиться к доктору с вашей претензией. (*Уходит*.)

VII

Кленин. Администратор! Чем больше я взираю на этого jeune premier-а, тем большим почтением исполняется дух мой.

Гудзенко. Животное!

Кленин. И по-латыни, душа моя, не хуже нас знает, на досках такие вензеля выделывает, что любо-дорого смотреть.

Элеонский (*поднимаясь*). Кто это? Фельдшер?

Кленин. Да.

Элеонский. Исколочу я его как-нибудь до полусмерти, тем и кончится балет!

Гудзенко (*подходя*). Как поживаете, Элеонский?

Элеонский. А, это вы, Гудзенко! Спросите у приятеля, мы с ним в одну клетку попали. Я только вчера очнулся, и все мне сдается, барин, что мы с Клеиным точно будто на станции лошадей дожидаемся. Проснусь на минуту, и думаю себе: все равно, до рассвету не запрягут, опять и завалюсь.

Гудзенко (*смотрит на него пристально*). Значит, все сны видите?

Элеонский (*дрожащим голосом*). Все сны!.. Не знаю, впрочем, может и наяву, не различишь... А уж, барин, изжога какая!.. Точно дьяволы сковороды раскаливают...

Кленин. Так, так, Элеонский!..

Элеонский. Знаешь, приятель? Патологию-то одну, значит, проходим, по тем же запискам.

Кленин. Да, скоро и экзамен!

Гудзенко. Приходила сюда девушка, вас спрашивала!

Элеонский. Меня?

Гудзенко. Да, фельдшер ее выгнал.

Элеонский (*вскакивает*). Ах, он скотина! Уничтожу бестию!

Гудзенко. Придет после доктора.

Элеонский. Кто бы это?.. У меня ведь нет полюбовницы, вон спросите Кленина.

Кленин. Это точно.

Гудзенко. Худенькая, небольшая.

Элеонский. А, знаю, Квасова. (*Меня тон.*) Который час?

Гудзенко. Двенадцатый.

Элеонский. Не может быть! Черт знает, все мне кажется, что мы парохода дожидаемся...

Гудзенко. Какой же пароход? Снег давно на дворе.

Элеонский. Снег! Странно! А я чуть закрою глаза: все вода... так и подмывает под самое нутро...

VIII

Служитель (*отворяет дверь*). Генерал идут!

Гудзенко. Меня не погнажи бы.

Кленин. Оставайся.

Элеонский. Посмотрите на птицу заморскую...

IX

Доктор, за ним фельдшер с книгой и два служителя.

Доктор (*подходит к Кленину*). Как вы?

Кленин. Слабость большая.

Доктор. Знаю. (*Фельдшеру.*) Elixir acidum galeri!^{90}

Кленин. Порцию мне бы изменить, доктор.

Доктор. Зачем?

Кленин. Очень уж приелась.

Доктор. Острых вещей нельзя... Ванны продолжать. (*Отходит.*)

Кленин (*ему вслед*). Хоть манной-то кашей меня не пичкайте.

Доктор (*фельдшеру*). Ту же порцию!

Фельдшер. Пустые претензии-с, ваше превосходительство! От безделья.

Доктор (*подходит к Элеонскому*). Как вы?

Элеонский. Не знаю, как вы, а я – скверно.

Доктор. Жар?

Элеонский. Сны все премерзкие! Вы больше снитесь, то с человеческой головой, то с собачьей.

Доктор. Хорошо. Ванны продолжать. (*Фельдшеру.*) Patio Riveri!

Фельдшер. Спит все господин Элеонский.

Доктор. Худо. Не спать! Порция та же! (*Уходит, за ним фельдшер и служители.*)

Элеонский (громко). Asinus asinum fricat...^{91}

Кленин. Вот тебе и весь сказ!

Гудзенко. Генерал!

Кленин. И не думал быть. Это команда его так величает.

Элеонский. Я, братцы, во сне видел, он совсем и не человек даже... он птица!

Послушай, Кленин, ты книжек много читал, есть такая на свете Стратим-птица^{92}, где-то я слышал?

Кленин. Как же, братец, птица древняя, в Голубиной книге упоминается.

Элеонский. В Голубиной?

Кленин. Да... Почитал бы я теперь стихов!

Элеонский. Каких, державинских?

Кленин. Нет, духовных бы стихов... Что за прелесть!^{93}

Элеонский. Душеспасительного захотел небось!.. Ну, это ты, братец, дуришь, надо тебя в ванне выкупать.

Кленин (*обращаясь к Гудзенко*). В духовной школе учился, а не понимает красоты благочестивого одушевления.

Элеонский. Нет, братец, не понимаю. А аттестат зато у меня важный!.. Я тебе покажу как-нибудь. Сказано: падучей болезни не имеет, в патристике успехи оказал отличные, в медицине и сельском хозяйстве – достаточные, во французском языке – весьма хорошие! А я хоть бы слово одно разумел! Лошадь как-то ну завон назвал!..

X

Фельдшер. Господин Кленин, пожалуйста в ванну!

Кленин. Да я не хочу.

Фельдшер. Доктор приказал продолжать по две ванны в день.

Гудзенко. Ступай, друг, а я забегу тут в трактирчик. Ведь со мной шли Сахаров с Подуруевым. Только закусить завернули в заведение.

Кленин. Подуруев уж не может!..

Фельдшер. Пожалуйста же, господин Кленин!

Кленин. Иду!

Элеонский. Послушай, братец! Не важничай ты, сделай милость, а то я с тобой дурно обойдусь.

Фельдшер. Извольте идти!.. (*Уходит вслед за Клеиным и Гудзенко.*)

XI

Элеонский. Опять спать хочется! Экая дьявольщина!.. Да, Квасова-то дожидается! (*Встает, идет к двери и встречается с Квасовой.*) Как это вы ко мне забрели? Покорно прошу.

Квасова. Ну как вы, Элеонский?

Элеонский. Скверно. Садитесь. Мебели-то у нас мало, зато просторно. Видите, камера заправская.

Квасова. Григорий Семеныч, я все не могу опомниться... Услыхала я, что вы в больнице, от Категорийского, так у меня руки и отнялись! Стою у кассы^{94}, буквы-то беру зря, где надо «емь», я «о» тычу...

Элеонский. Говорил я вам, барышня, помните, насчет своей судьбы: подберут где-нибудь, стащут в больницу... Так и случилось!

Квасова. Ах, что вы! Вот я вам принесла тут (*развязывает узел*) папирос да книг, бумаги... Может, вздумается пописать.

Элеонский. Ха, ха! Писать!.. Мне и говорить-то противно, сударыня... И что это такое со мной делается, ума не приложу.

Квасова. А что?

Элеонский. Все сны, все сны, без начала, без конца!

Квасова. Это страшно, Григорий Семеныч.

Элеонский. Я вам скажу вот какую штуку! Лежу я, и сдаётся мне, что всю мою жизнь прежнюю я во сне видел, да-с. Сон это был, простой сон. А теперь куда-то все собираюсь в дорогу, то на тройке, то на пароходе...

Квасова (*с выражением тревоги на лице*). Вы бы не думали, Элеонский. Это от думы больше.

Элеонский. Я ни об чем не думаю. Куда мне думать! Думать мне совсем и не хочется.

Квасова. Выздоровливайте поскорее, Элеонский. У нас все пошло вразлад. Работа стала. Все нос повесили.

Элеонский. И пускай не работают. Зачем?.. Все равно околеем! Дорога для всех одна.

XII

Категорийский. Гриша, здравствуй! Насилу урвался навестить тебя.

Квасова. Вы из типографии, Категорийский?

Категорийский. Да. Об вас спрашивал метранпаж.

Квасова. Мне не ночевать же там, в самом деле, и так по десяти часов работаешь.

Элеонский. Бросай ты, Категорийский, свои корректуры, иди, братец, на Волгу, в бурлаки...

Категорийский. И то придется! Ну как ты, Гриша?.. И зачем ты это в больницу лег, Бога ты не боишься!.. Нешто я бы не приютил тебя... Опять же, у меня твои деньги. Какого покою или ухода за тобой, все бы это я предоставил тебе. (*Осматривает.*) Здесь ровно в остроге, с ума сойдешь от тоски одной.

Квасова. Да как же, я сама это хотела сказать Григорию Семенычу.

Элеонский. С ума сойдешь! Я затем и лег сюда!

Квасова. Что вы, Бог с вами!

Категорийский. Посмотри-ка, Гриша, совсем узнать тебя нельзя... как осунулся, страсть! Так меня за сердце хватает. И за что, подумаешь, напасть на тех, кто помоложе да побольше разума имеют!.. (*Со слезами.*) И злость, и жалость берет!

Элеонский. Экая ты плакса, Категорийский, а еще богатырем у нас слыл! Об чем тут хныкать! Коли не хочешь в бурлаки идти, подбери поповну поспособней, место схлопочи со взятием...

Категорийский (*махнув рукой*). Плохие, Гриша, шутки!

XIII

Элеонский. Выпаривают еще приятеля-то, не вернулся.

Подуруев (*в легком подпитии*). И вы здесь, Элеонский!.. Вот мило! Весело, чай, вам обоим?

Сахаров. Господин Элеонский, здравствуйте!

Элеонский. Здравствуйте, государь мой! Подуруев, не мешало бы и вам третьему лечь сюда.

Подуруев. Дайте срок, преуспею, как раз попаду. (*Увидел Квасову.*) Сахаров, смотри-ка, женский-то пол! Ничего, благовидна. (*Подходит к Квасовой.*) Представьте меня, Элеонский, вашей знакомой.

Элеонский. Что за представления такие, батюшка? Здесь салон, что ли. Это госпожа Квасова, а это Подуруев, стихи пишет. Признаться вам, стихов ваших я не читал.

Квасова. Зато я читала. Они мне нравятся...

Подуруев. Вот видите, Элеонский, женщины-то у вас больше словесностью занимаются, чем даже записные литераторы! Стыдно!..

Элеонский, оборотившись спиной к публике, остается с **Категорийским** и **Квасовой**, которые сидят за кроватью.

XIV

Входит Кленин, служитель его поддерживает.

Подуруев (*бросаясь к ним*). Виктор, душа моя!

Кленин. А! Здравствуй... и ты, Сахаров... Совсем ослаб! Морят они этими ваннами.

Сахаров. Хуже тебе?

Кленин. Дурно сделалось. Дай-ка руку. (*Гудзенко и Сахаров подводят его к кровати.*)

Квасова. Пойдемте в приемную.

Категорийский. И то!

Элеонский. Гойда!

Уходят.

XV

Подуруев (*садится на кровать*). Душа моя, Виктор, как ты похудел! Мы без тебя – овцы без стада... Мне ничего в голову не лезет. Ни одного стиха, ей-богу. Шли с Сахаровым к тебе, так мне сделалось горько, завернем, я говорю, в заведение... Там малую толику пропустил, померанцевой одну, хересов – две, горькошпанской – три, вот и все...

Кленин. Эх, Подуруев, ведь это спозаранок-то только на праздник угощаются.

Подуруев. Я с горя...

Гудзенко. Я уж говорил ему.

Сахаров. Да, Виктор, подымайся ты, сделай милость, журнал на ниточке, дела плохие, статей нет, писать некому, со всех сторон ругатня... И тебя тоже честят. Надо отвечать, надо поддержать редакцию, а то лопнет непременно.

Кленин (после небольшой паузы). Эх, други... плохие вести приносите вы! Как? На нас, мертвецов, вся надежда! Кинуть ее надо! Лопнет журнал, вы говорите? Тому так и быть следует! Это моя вина!

Сахаров. Как твоя?

Кленин. Да, мы носим в себе элементы смерти, к чему прикоснемся, все рушится! Таков был наш земной удел! Когда я начал работать с вами, я увлекся, поверил своим силам... и в несколько дней перед вами развалина!.. Простите, братцы, простите, что ввел вас всех в соблазн! Идите своей дорогой!.. Меньше туману, больше науки!

Сахаров. К чему такое отречение, Виктор, я не понимаю. Мы – твои ученики, мы будем продолжать твоё дело.

Подуруев. Да, душа, ты завещал нам идеалы... Как же нам не запить теперь с горя... коли ты не хочешь поддержать своих учеников!

Кленин. Полно, юноша!.. Вы посмотрите-ка, братцы, что наука начертала вон на этих черных досках: у меня alcoholismus chronicus! Там (указывает на кровать Элеонского) alcoholismus acutus!

Сахаров (наклоняется к нему). Как, я думаю, приятно лежать с ним!

Кленин. Очень приятно. Об этом после, душа моя... Так вы видите надписи?

Подуруев. Видим и разумеем.

Кленин. Глубокий смысл проявляют оне. У меня застарелый нравственный недуг, у него – взрыв душевного негодования!.. Фарисейские моралисты скажут про нас: поделом им, пьяницам, беспутным шатунам! И в самом деле, что мы приведем в свое оправдание, если нас представить в полицию? Там не станешь толковать об страстях и сердечных язвах да обгнете неумолкаемых дум!.. Поймали с поличным, и кончен бал! И больничной науке нет дела, написала alcoholismus chronicus^{95} над сочинителем Клениным, и alcoholismus acutus^{96} над сочинителем Элеонским, и права! Спасибо ей за то, что хочет лечить нас, дает хоть микстурки, какие ни на есть. А кто поставит душевную диагностику?! Кто скажет человеческое слово про беспутных шатунов? Вот он да ты, да ты... да и обчелся! Да и то больше по мягкости, чем по разумению!.. Не обижайтесь!.. А глядишь, вся Русь, вся, вся топит в том же пойле свою немощь!.. Только в простом человеке не наделать змее-тоске таких язв, как в нашей братии, промышляющей душевными криками!..

Гудзенко. Грех тебе, друг! Кто же больше понимает тебя, как мы!

Подуруев. Обидел ты нас, обидел!

Сахаров. Перестань, Виктор, говорить в этом тоне, когда ты один в силах поддержать наш кружок!

Кленин. Кружок!.. Гамлет Щигровского уезда^{97} предал его анафеме. А я скажу: кружок хорош только, когда валяешься в больнице, вот как я теперь, и придут добрые ребята покалякать с тобой. Помню я из Овидия стих, азбучное изречение, а должно быть верно:

Donec eris felix, multos numerabis amicos!^{98}

Слава Богу! Для меня оно неверно! На что уж пришибен, а приятели есть, пришли покалякать... И я вам, друзья, скажу вот на этой больничной койке, как старикашка Лир Корделии:

Don't mock me, don't laugh at me!^{99}

Не издевайтесь надо мной. Видите, какой я неисправимый сочинитель, даже на смертном, так сказать, одре, и то не оставил замашки цитировать!.. Рукомесло-то что значит!

Гудзенко. Наше приятельство, друг, не на один час...

Кленин. Эх, добросердый хлопче! Я разве жалуясь! Есть десятки из пишущей-то братии, валяются в чахотках да в разных лихих болестях, и ни одна собака не заглянет!.. А все, по душе сказать, как останешься один и приходят тебе на ум вот эти слова:

И с каждым днем окружена тесней,
Затеряна его могила.
И память благодарная друзей
Дороги к ней не проторила!^{100}

Стихи не мои. Сами знаете! А кого тут забыли?.. Не меня, заурядного болтуна, а великую душу!.. Помню ее, эту наивную вдохновенную натуру! Слушал и я эту горячую, нервную речь, ходил и я на могилу Виссариона Белинского!.. А потом забыл! Значит, сугубо достоин забвения! Кто поставил над ним памятник, чья любовь, чьи молитвы и благословения?! До сих пор толпа грошовых борзописцев питаются крохами с этой богатой трапезы, а ни один не даст полушки медной в память уже оплеванного учителя!..

Подуруев. Что ты, душа, панихиду-то себе поешь!.. Ты меня настрой получше, я тебе вакхическую шутку такую изображу, что мертвые воскреснут!

Кленин. Не моги сочинять эпитафии надо мной! Боже тебя сохрани! Простой белый крест, и больше ничего! Моя эпитафия со мной умрет (*приподнимается на кровати*):

Волшебный луч (*и проч.*)^{101}

XVI

Элеонский (*входит при последних словах и прерывает декламацию Кленина*).

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть!^{102}

Кленин (*порывисто*). Нет, Элеонский! Конец не нужно! Не хочу я ненавидеть!..

Элеонский. Ты не хочешь, да я хочу, брат!

Кленин. Ты, быть может, да и то, правда ли? Вот смотри, мы встретились с тобой, как враги, и нет в нас злобы! Братцы, вы видите, мы приятели! Вас это поражает, быть может? Перед вами здесь, в этой камере два лагеря мысли, слова и симпатий – я перехожу эту пропасть, подаю ему руку, и говорю вам, что он мне так же близок, как и вы! Да!.. Не

возмушайтесь, а любите, и вы поймете, что враждовать нечего, а надо смириться!..

Элеонский. Не предо мной ли уж, барин!

Кленин (*восторженно*). Да, пред тобой и в лице твоём пред всем, что молодые силы внесли в нашу жизнь светлого, здорового, могучего! Братцы, вот святая истина: мы погибли от своих сердечных ран, они страдают от болезни духа! Не смейтесь над этой гражданской скорбью! Я сам над ней издевался, и я каюсь, как лютый грешник!.. Я схожу в могилу, Элеонский, но ты живи! Вам принадлежит грядущее, вы водрузите стяг трезвой правды, и перед ней поблекнут все наши детские и пустые лепетания!.. (*Слабеет.*) Я сказал, друзья! Побивайте меня камнями!.. Больше сил нет, ложусь!.. (*Опускается на кровать.*)

Элеонский. Что он такое толковал, господа?

Подуруев. Вы слышали, чай, радуйтесь!

Гудзенко. Кабы его устами да мед пить!

Сахаров. Успокойся, Виктор! Ты очень волнуешься.

Элеонский (*Квасовой*). Когда он едет?

Квасова. Кто?

Элеонский. Критик... Эй, Категорийский!..

Категорийский. Чего тебе?

Элеонский. Собирайся, брат. Поскорей!

Категорийский. Куда?

Элеонский. В Вавилон!

Квасова (*с испугом*). Григорий Семеныч!.. Вы бы сели...

Элеонский (*садится и смотрит на столик*). Видите вы, господа, эту рожу. (*Указывает.*) Вот эту!.. Экая харя... глазищи-то, глазищи-то!.. Нет, брат, не достанешь!.. А этот зеленый, так и ползет... (*Отскакивает.*) Один, два, три!.. Батюшки, сколько!.. (*Хватается за голову.*) В волосы вцепляются!.. Дьяволы!

Квасова. Категорийский, ради Бога, что это такое?

Элеонский. За нос, за нос!.. Пошли!..

XVII

Фельдшер. Господин Элеонский, пожалуйста в ванну!

Элеонский. А! вот он хозяин-то!.. (*Бросается на него.*) Не уйдешь, барин, разражу!.. Кровь из нас пить!.. Черти! Барышники!..

Категорийский (*удерживает его*). Гриша!..

Квасова. Помешался!.. (*Кидается к нему.*)

Элеонский. Зеленый, зеленый, я до тебя доберусь! (*Вырывается.*)

Гудзенко (*отходит и смотря на Кленина вполголоса*). Тарас-то наш правду сказал:

Дэ ті люде, дэ ті добри,
Що серьеце збиралось.
З ими жити, их любити
Пропали, пропали!.. [103](#)

(Утирает слезы.)
Занавес падает.

Конец

Квасова. Поїхавши!... /хитаєтосъ якъ коня/.

Зеленскій. Зелений, великий, я до тебе доберусь!...

/вириваетъ/.

Будзенько. /отшодить и вилотръ нахмыкаєтосъ поплываєтосъ/.

Жарасъ — то нехиль.. правду скажеть:

Дз ти люде, дз ти добри,

Що серце збиралось.

Зъ нымъ жити, ихъ любити

Пропали, пропали!....

/утираєтосъ сльозы/.

(Занаєтосъ падаєтосъ.)

Конецъ.

Приложение I

Н. А. Некрасов. В больнице

Вот и больница. Светя, показал
В угол нам сонный смотритель.
Трудно и медленно там угасал
Честный бедняк сочинитель.
Мы попрекнули невольно его,
Что, зануждавшись в столице,
Не известил он друзей никого,
А приютился в больнице...

«Что за беда, – он шутя отвечал, —
Мне и в больнице покойно.
Я все соседей моих наблюдал:
Многое, право, достойно
Гоголя кисти. Вот этот субъект,
Что меж кроватями бродит —
Есть у него превосходный проект,
Только – беда! не находит
Денег... а то бы давно превращал
Он в бриллианты крапиву.
Он покровительство мне обещал
И миллион на разживу!

Вот старикашка актер: на людей
И на судьбу негодует;
Перевирая, из старых ролей
Всюду двустушия сует;
Он добродушен, задорен и мил
Жалко – уснул (или умер?) —
А то бы верно он вас посмешил...
Смолк и семнадцатый номер!

А как он бредил деревней своей,
Как, о семействе тоскуя,
Ласки последней просил у детей,
А у жены поцелуя!

Не просыпайся же, бедный больной!
Так в забытьи и умри ты...
Очи твои не любимой рукой —
Сторожем будут закрыты!
Завтра дежурные нас обойдут,

Саваном мертвых накроют,
Счетом в мертвецкий покой отнесут,
Счетом в могилу зароят.
И уж тогда не являйся жена,
Чуткая сердцем, в больницу —
Бедного мужа не сыщет она,
Хоть раскопай всю столицу!

Случай недавно ужасный тут был:
Пастор какой-то немецкой
К сыну приехал – и долго ходил...
«Вы поищите в мертвецкой», —
Сторож ему равнодушно сказал;
Бедный старик пошатнулся,
В страшном испуге туда побежал,
Да, говорят, и рехнулся!
Слезы ручьями текут по лицу,
Он между трупами бродит:
Молча заглянет в лицо мертвецу,
Молча к другому подходит...

Впрочем, не вечно чужою рукой
Здесь закрываются очи.
Помню: с прошибленной в кровь головой
К нам привели среди ночи
Старого вора – в остроге его

Буйный товарищ изранил.
Он не хотел исполнять ничего,
Только грозил и буянил.
Наша сиделка к нему подошла,
Вздрогнула вдруг – и ни слова...
В странном молчанье минута прошла:
Смотрят один на другого!

Кончилось тем, что угрюмый злодей,
Пьяный, обрызганный кровью,
Вдруг зарыдал – перед первой своей
Светлой и честной любовью.
(Смолоду знали друг друга они...)
Круто старик изменился:
Плачет да молится целые дни,
Перед врачами смирился.
Не было средства, однако, помочь...
Час его смерти был странен

(Помню я эту печальную ночь):
Он уже был бездыханен,
А всепрощающий голос любви,
Полный мольбы бесконечной,
Тихо над ним раздавался: «Живи,
Милой, желанной, сердечной!»
Все, что имела она, продала —
С честью его схоронила.
Бедная! как она мало жила!
Как она много любила!
А что любовь ей дала, кроме бед,
Кроме печали и муки?
Смолоду – стыд, а на старости лет —
Ужас последней разлуки!..

Есть и писатели здесь, господа.
Вот, посмотрите: украдкой,
Бледен и робок, подходит сюда
Юноша с толстой тетрадкой.
С юга пешком привела его страсть
В дальнюю нашу столицу —
Думал бедняга в храм славы попасть —
Рад, что попал и в больницу!
Всем он читал свой ребяческий бред —
Было тут смеху и шуму!
Я лишь один не смеялся... о нет!
Думал я горькую думу.
Братья-писатели! в нашей судьбе
Что-то лежит роковое:
Если бы все мы, не веря себе,
Выбрали дело другое —
Не было б, точно, согласен и я,
Жалких писак и педантов —
Только бы не было также, друзья,
Скоттов, Шекспиров и Дантов!
Чтоб одного возвеличить, борьба
Тысячи слабых уносит —
Даром ничто не дается: судьба
Жертв искупительных просит».

Тут наш приятель глубоко вздохнул,
Начал метаться тревожно;
Мы посидели, пока он уснул, —
И разошлись осторожно...

Приложение II

Евгений Иванович Якушкин и его библиотека

Писарская копия «Скорбной братии» дошла до нас, сохранившись в библиотеке Евгения Ивановича Якушкина. Если о судьбе рукописи сказано во вступительной статье, то о библиотеке Евгения Ивановича и о нем самом необходимо, пусть и кратко, рассказать отдельно.

Евгений Иванович Якушкин (1826–1905) – сын хорошо известного в русской истории Ивана Дмитриевича Якушкина (1793–1857), отец заметных в истории русской интеллектуальной жизни сыновей, Вячеслава и Евгения, и сам по себе человек примечательный, оставивший существенный след сразу в нескольких областях общественной и культурной жизни, – впрочем, в силу своеобразия характера много сделавший чтобы оставаться неприметным, чьи достоинства и заслуги вполне могли оценить лишь те, кто хорошо и близко его знал.

С молодых лет он находился в центре интеллектуальной жизни страны: значительную роль в его формировании сыграл Петр Яковлевич Чаадаев, большой друг его отца и, отметим попутно, обладатель замечательной библиотеки^[44], к концу 1840-х гг. Якушкин входит в кружок Кетчера – Пикулина, наследовавший знаменитым московским кружкам 1830–1840-х гг. и сохранявшего во многом их атмосферу до начала 1860-х. Это одновременно и круг книжников: уже вскоре, с 1856 г., Кетчер станет фактическим программным руководителем книгоиздательства К. Т. Солдатенкова^[45], он же подготовит совместно с А. Галаховым первое собрание сочинений В. Г. Белинского (1859–1861), до сих пор сохраняющее известное значение в установлении текстов критика.

Биография Евгения Ивановича, к сожалению, освещена далеко не равномерно – преимущественным вниманием исследователей пользовались его труды, связанные с декабристским наследием и контактами с «Вольной русской типографией»^[46]. Справедливости ради сразу же отметим, что такая фокусировка внимания обусловлена отнюдь не только и даже не столько конъюнктурой: Якушкин сыграл огромную роль в образовании декабристского мемуарного комплекса, подталкивая знакомых ему с первой поездки в Сибирь в 1853 г. декабристов, товарищей его отца, к написанию мемуаров^[47]. Так, именно ему мы обязаны «Записками о Пушкине» Ивана Пущина (которые автор посвятил Евгению Ивановичу), он же собрал и большой документальный материал о жизни декабристов в Сибири, наиболее интересная для широких читателей часть которого была опубликована уже после его смерти, в 1926 г., младшим сыном Евгением^[48].

Однако его библиофильские интересы были изначально намного шире лишь декабристской и пушкинской тем. Он не только собирает материалы, публикует их в пределах империи или же, не имея такой возможности, пользуется ресурсами «Вольной русской типографии» Герцена или других заграничных русских типографий, но и принимает активное участие в известном журнале 1858–1859 гг. «Библиографические заметки»^[49], душой и редактором которого будет другой известный деятель русской книги, А. Н. Афанасьев (1826–1871).

В 1859 г. Якушкин по решению дяди (мужа сестры его матери^[50] Прасковьи Васильевны) М. Н. Муравьева (будущего графа Муравьева-Виленского, известного

подавателя польского мятежа 1863 г. в Северо-Западных губерниях, а на тот момент – министра государственных имуществ) получил назначение председателем Палаты государственных имуществ Ярославской губернии. Это назначение (в должности председателя он прослужит до самой отставки в 1884 г. [\[51\]](#)) двойным образом определило всю последующую жизнь Якушкина. Во-первых, он переселился в Ярославль и прожил там до конца дней, став с годами, по выражению одного из мемуаристов, местной «княгиней Марьей Алексеевной» – гласом местного общественного мнения. Во-вторых, оно определило основное направление его научных интересов. В качестве председателя Палаты государственных имуществ Якушкин получил в свое управление государственных крестьян губернии (а, напомним, что большая часть сельского населения империи обладала именно этим правовым статусом) и начал собирать и обрабатывать материалы по обычному праву русских крестьян и инородцев. В итоге он создал огромный (и со второго выпуска – подробно аннотированный) библиографический указатель по этой теме: первый выпуск вышел в 1875 г., 3-й и 4-й – уже посмертно, подготовленные старшим сыном Вячеславом, в 1908–1909 гг. (частью этой работы был и изданный отдельно в 1899 г. указатель по «Обычному праву русских инородцев»).

Как уже говорилось выше, Якушкин унаследовал библиотеку, собранную еще его отцом, но уже с молодых лет сам сделался горячим библиофилом. А. Н. Афанасьев, заканчивая одно из писем Якушкину уже после переезда последнего в Ярославль, писал: «Иду под Сухареву башню!» (где располагался вплоть до 1930-х основной район книжной букинистической торговли). И пояснял, упоминая первую жену Якушкина, урожденную Е. Г. Кнорринг: «Последнюю прибавку делаю, во-первых, чтобы подразнить тебя, и, во-вторых, чтобы доставить удовольствие Елене Густавовне, которая, конечно, должна быть довольна Ярославлем, потому что в нем нет Сухаревой башни» [\[52\]](#). Полтора десятилетия спустя П. А. Ефремову (выдающемуся редактору сочинений русской классической литературы и библиофилу, часть библиотеки которого, 25 000 томов, была уже в начале XX века приобретена Пушкинским Домом и входит в библиотечную коллекцию последнего) Якушкин писал (7.X.1875): «Мой старший сын поступил в Московский университет, на филологический факультет; что из него выйдет, я не знаю, но во всяком случае выйдет великий библиофил. Такова уж наша порода. Теперь я намерен через него приобретать книги у Сухаревой башни и на Смоленском рынке» [\[53\]](#). Собранная и регулярно пополняемая им библиотека была заметной частью ярославской жизни. Описание кабинета Якушкина, где хранилась главная часть библиотеки, оставила внучка Евгения Ивановича: «Все стены были заставлены полками с книгами, очень большой стол, покрытый ярко-зеленым сукном, на четырех толстых ножках, без тумбочек. На столе стояли по бокам большой чернильницы две фарфоровые статуэтки. Они изображали крестьянина и крестьянку, он в зипуне и в лаптях, она – в сарафане. Лежало много ножей для разрезания книг. Окна кабинета выходили во двор дома» [\[54\]](#).

П. С. Шереметьев вспоминал вскоре после кончины Евгения Ивановича: «В лице его ушел еще один из людей прошлого общества, того истинно просвещенного русского общества, пропитанного европейской культурой, представителей которого более почти не осталось. Старое воспитание, интересы науки, терпимость к чужим взглядам, юмор, богатство воспоминаний – все это влекло к Евгению Ивановичу людей, находивших в его живой беседе истинное наслаждение. На нем лежала печать соединения старого помещного

быта с<о> складом профессора и человека науки, и самое выражение лица его было таково: то блеснет взор XVIII века, то профессор 40-х годов»^[55].

Отличали Евгения Ивановича, как отчасти упоминалось выше, редкие скромность и бескорыстие, в том числе и в сфере его ученых занятий, свобода от любого авторского тщеславия^[56]. Так, когда А. Н. Пыпин готовил свою «Историю русской этнографии», Якушкин предложил ему использовать в работе уже подготовленные, но еще не опубликованные 2-й и 3-й выпуски своего «Обычного права...», предоставив их авторитетному исследователю в рукописи. Пыпин отвечал в Ярославль: «Приношу Вам искреннейшую благодарность за желание помочь моему труду: подобного желанья не встречал я еще ни разу в течение моей уже довольно многолетней работы, т. е. ни разу в такой широкой, дружественной, товарищеской форме»^[57]. Это бескорыстие относилось и к его книжному собранию – он охотно раздаривал книги уже в молодые годы, а с годами стал пополнять целенаправленно разные книжные и архивные коллекции. Так, в библиотеку Румянцевского музея (нынеРГБ) он передал 12 иностранных сочинений о России, которые отсутствовали в каталоге Rossica^[58] Публичной библиотеки (ныне РНБ), рукопись «Записок...» Пущина была передана им в библиотеку Александровского лицея^[59]. Якушкин основал целый ряд библиотек в Ярославле, каждая из которых получала от него книжный дар. По сведениям

У. Г. Иваска, относящимся уже ко времени после кончины Евгения Ивановича, его «библиотека находилась в Ярославле и заключала в себе до 15 тысяч томов по русской истории, этнографии, обычному праву, собрание альманахов и проч. <...> По смерти владельца, библиотека (кроме части, пожертвованной еще ранее Московскому публичному и Румянцевскому музеям) перешла к его сыну, В. Е. Якушкину»^[60]. Основная ее часть, «до 10 тысяч названий», по указанию того же автора, была пожертвована В. Е. Якушкиным Московскому народному университету имени Шанявского (с благоразумной оговоркой, в силу отсутствия уверенности в долговечности народного университета, чтобы в случае его закрытия библиотека перешла во владение Московских высших женских курсов). А далее, уже через преемство с Народным университетом им. Шанявского, она в наши дни в основной своей части вошла в состав библиотеки РАНХиГС с ходом времени, утратив обособленность своих фондов (так что в конце 1980-х биограф Якушкина, Л. М. Равич, говорила лишь о «небольших разрозненных остатках», которые наблюдала в составе библиотеки ВПШ). На сегодняшний день предметом отдельного интереса было бы выявление и описание той части библиотеки Якушкина, что в разрозненном виде хранится в составе библиотечного собрания РАНХиГС.

А. А. Тесля

notes

Розанов В. В. Полное собрание «опавших листьев». Кн. 1: Уединенное / Под ред. В. Г. Сукача. М.: Русский путь, 2002. С. 61–62.

Литература о Боборыкине немногочисленна. Из основных работ следует отметить: (1) Ленин А. М. К истории буржуазного стиля в русской литературе. Ростов-на-Дону, 1935; (2) Кубиков И. Боборыкин // Литературная энциклопедия. Т. 1. М.: Издательство Коммунистической академии, 1929; Стб. 522–525; (3) Виленская Э., Ройтберг Л. С. П. Д. Боборыкин и его воспоминания // Боборыкин П. Д. Воспоминания. В 2 тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1965. С. 5–36, а также этих же авторов комментарии к воспоминаниям Боборыкина [см. также первое книжное издание воспоминаний: Боборыкин П. Д. За полвека (Мои воспоминания) / Редакция, предисл. и примеч. Б. П. Козьмина. М., Л.: Земля и фабрика, 1929]; (4) Муратов А. Б. Боборыкин // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 286–290; (5) Чупринин С. И. Труды и дни П. Д. Боборыкина // Боборыкин П. Д. Сочинения. В 3 тт. Т. 1. М.: Художественная литература, 1993. С. 5–26.

Выхода в свет 2-го издания романа «Жертва вечерняя» (1872) и вернувшихся вновь, как и в связи с первым изданием, споров о нравственности романа, о тех представлениях о мире, что отразились в его героях и в стоящем за ними мировоззрении автора.

См.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 21: Дневник писателя, 1873; Статьи и заметки, 1873–1878 / Отв. ред. В. Г. Базанов; тексты подгот. и примеч. сост. А. В. Архипова-Богданова и др. Л.: Наука, 1980. С. 404.

Например, в изложении путей развития прозы в 1880-е гг.: «Отец-идеалист и сын – грубый практик становятся излюбленными типами отзывчивых на злобу дня романов Боборыкина и других бытописателей» [Русская литература XX века. 1890–1910 / Под ред. проф. С. А. Венгерова; послесл., подгот. текста А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2004. С. 25].

Философов Д. В. Критические статьи и заметки. 1899–1916 / Сост., предисл. и примеч. О. А. Коростелева. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 378, 377.

Розанов В. В. О себе и жизни своей / Сост., предисл., ком-мент., указат. и подготовка текста В. Г. Сукача. М.: Московский рабочий, 1990. С. 218.

Напомним попутно обстоятельство, хорошо осознанное еще формалистами 1920-х гг., что понимание литературы требует изучения авторов «второго ряда», создающих тот контекст и среду, в которой становится возможным появление «вершин»: анализ «второго ряда» в том числе позволяет осознать, что в выдающихся произведениях является авторским, уникальным, а что – принадлежностью своего времени, в последующем забытой в своей распространенности и сохраняющейся уже в единичных произведениях, читаемых вне времени.

См.: Сдвижков Д. А. Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

Розанов В. В. О себе и жизни своей... С. 91–92.

Даже женился он в конце концов на театральной актрисе, Софье Зборжевской (1845–1925), выступавшей на сцене под псевдонимом Северцова. История их знакомства рассказана им самим в последней главе мемуаров. Она началась с критической статьи о ее дебюте в парижском театре «Водевиль». Через два года они встретились в Петербурге, где Боборыкин ее, поступившую в труппу Александринского театра, не узнал, а она не забыла критика [Боборыкин П. Д. Воспоминания... Т. 2. С. 163]. Они поженились в ноябре 1872 г., и в дальнейшем и Софья Александровна принимала участие в литературе, став переводчиком французских пьес и романов, а также изредка пробуя себя в беллетристике [см.: Белодубровский Е. Б. Боборыкина // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 290].

Точнее было бы даже сказать – дебюты: первая его пьеса, «Шила в мешке не утаишь», написанная в 1858 г., была принята журналом «Русское слово», однако не прошла цензуры – и первым опубликованным произведением стала комедия «Одюдворец», появившаяся в журнале «Библиотека для чтения» в 1860 г. (№ 10).

Роман выдержал три книжных издания: одно сразу же по завершении журнальной публикации, в 1864 г. (СПБ.: Тип. Внутренней Стражи и Э. Арнгольда), в 1884–1885 гг. – в составе 1-го собрания сочинений, и уже в 1900 г. – вторым отдельным, в том же издательстве М. О. Вольфа, где вышло и первое собрание (второе появится в 1897 г., в качестве приложения к «Ниве», вновь в 12 томах, но будет продолжением первого).

Боборыкин П. Д. Театральное искусство. СПб.: Тип. Н. Неклюдова, 1872. К драматургии Боборыкин был пристрастен до поздних лет. В. Я. Брюсов, заведовавший в то время литературной частью одного из основных русских толстых журналов, «Русской мысли», писал главному редактору, П. Б. Струве, 10 октября 1910 г. из Москвы в Петербург: «П. Боборыкин, увы! прислал драму... Я ее еще не читал. Не ответить ли почтенному и маститому, что, к сожалению, в “Русск. Мысли” гонорары так скромны, что мы их не решаемся предложить ему? Не будет ли это лучшим выходом из затруднения?» [Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. Т. V / Под ред. К. Д. Муратовой. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 298].

Боборыкин П. Д. Воспоминания... Т. 1. С. 427.

Миллер С. А. Рукопись драмы П. Д. Боборыкина «Скорбная братия» // Фонды редких книг научных библиотек: По материалам международной научно-практической конференции «Фонды отделов редких книг научных библиотек в цифровую эпоху» (Санкт-Петербург, 14–15 февраля 2019 г.): сборник докладов. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2019. С. 247–253.

Заметим, что в 1870-е Боборыкин в основном публиковался в «Отечественных записках» (редактируемых до кончины Н. А. Некрасова вместе с ним М. Е. Салтыковым и Г. З. Елисеевым, а после смерти Некрасова в 1877 г. – кооптированным в триумвират Н. К. Михайловским). В конце 1870-х Салтыков дает явственно понять Боборыкину, что дальнейшее сотрудничество нежелательно, и тот оказывается вынужденным вновь искать свой журнал, которым в итоге на долгие годы в основном делается «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича.

Переписка И. С. Тургенева. В 2 тт. Т. 2 / Под ред. К. И. Тюнькина. М.: Художественная литература, 1986. С. 307.

Боборыкин П. Д. У романистов (Парижские впечатления) [1878] // Он же. Воспоминания... Т. 2. С. 366.

Повествуя о Доде, но во многом обороняясь от упреков в свой адрес, Боборькин, например, замечает: «Но есть фотографии и фотографии. У А. Доде снимки с действительности равняются очень часто самому строгому творчеству» [Боборькин П. Д. Воспоминания... Т. 2. С. 361].

Описание похорон Григорьева, отметим попутно, сохранилось лишь в изложении Боборыкина, в повести «Долго ли?..», напечатанной в кн. X «Отечественных Записок» за 1875 г. [см. воспроизведенный текст: Иванов-Разумник. Аполлон Григорьев // Григорьев А. А. Воспоминания / Ред. и коммент. Иванова-Разумника. М., Л.: Academia, 1930. С. 663–672].

Впрочем, сам Боборькин любил повторять из «Гамбургской драматургии» Лессинга ответ на вопрос «Отчего умирает героиня?» – «От пятого акта».

По наблюдению над сходством почерков, сделанному С. А. Миллер. См. ее статью: Миллер С. А. Рукопись драмы П. Д. Боборыкина... С. 247, 248.

Боборыкин П. Д. Воспоминания... Т. 1. С. 427.

См.: Чуковский К. И. Жизнь и смерть Николая Успенского // Он же. Люди и книги шестидесятых годов. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. С. 88–150.

См. о поповичах: Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России / Пер. с англ. А. Ю. Полунова. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

Елисеев Г. З. Воспоминания // Шестидесятые годы: М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев. Воспоминания / Вступительные статьи, коммент. и ред. В. Евгеньева-Максимова и Г. Ф. Тизенгаузена. М., Л.: Academia, 1933. С. 399. Отметим, что тот же Елисеев замечает, что это отнюдь не была черта случайного лакея, некое *qui-pro-quo* – сам рассказ о случае с Левитовым он помещает после общего суждения: «В Михаиле Евграфовиче долго оставались традиции условного дворянского декорума относительно внешности, одежды, обращения и т. п., и он на молодых литераторов, пренебрегающих этим декорумом, смотрел как на людей “необнатуренных”, как он выражался, и естественно остерегался вступать с ними в более близкие отношения» [Там же. С. 398–399].

Успенский Н. В. Из прошлого: Мемуары. http://az.lib.ru/u/uspenskij_n_w/text_0170.shtml

Ведущие литераторы того времени – Тургенев, Толстой, Григорович, Островский – обязывались отдавать свои новые сочинения исключительно в «Современник» и печатать в других местах лишь в случае отказа редакции. Соглашение оказалось нереализуемым на практике – почти у всех участников нашлись намного более ранние уже оговоренные соглашения с другими изданиями, которые надобно было исполнить и т. д., но шум от соглашения был очень велик [вызвав в том числе ряд карикатур – см., напр.: Евгеньев-Максимов В. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. Л.: Художественная литература, 1936. С. 112].

Хрестоматийным сделалось язвительное замечание Тургенева по поводу Чернышевского и Добролюбова, что первый есть змея обычная, а второй – очковая. Неприятие стало вполне публичным фактом при представлении написанной и разыгранной летом 1855 г. в имении Тургенева Спасское-Лутовиново Орловской губернии пьесы «Школа гостеприимства», прямо и зло высмеивавшей Чернышевского в образе бездарного критика Чернушкина. Пьеса была разыграна в Петербурге в доме Штакеншнейдеров 7 февраля 1856 г. (а ранее в т. 133 «Библиотеки для чтения» за 1855 г. Григорович опубликовал одноименную повесть, написанную на основе пьесы). См. о представлении пьесы в Петербурге: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854–1886) / Ред., ст. и прим. И. Н. Розанова. М., Л.: Academia, 1934. С. 116–120 и комментарии к соответствующим дневниковым записям.

См.: Шестидесятые годы... С. 227, 316 и сл., 345–346; Евгеньев-Максимов В., Тизенгаузен Г. Последние годы «Современника». 1863–1866. Л.: Художественная литература, 1939. С. 14–18.

Материалы для характеристики современной русской литературы I. Литературное объяснение с Н. А. Некрасовым М. А. Антоновича II. Post-scriptum. Содержание и программа «Отечественных записок» за прошлый год Ю. Г. Жуковского. СПб. 1869.

Боборыкин П. Д. Воспоминания... Т 2. С. 149, ср.: Т. 1. С. 404.

См.: Боборькин П. Д. Воспоминания... Т. 2. С. 131 и сл.

Там же. С. 157.

Там же. Т. 1. С. 427.

Там же. Т. 2. С. 159.

Отдельное издание: Боборыкин П. Д. Солидные добродетели: Роман в четырех книгах. СПб.: Издание Е. П. Печаткина, 1871.

Цит. по: Зубков К. Ю. Идеология и биография радикального разночинца в конце XIX века: Н. В. Успенский и Литературный фонд // Складчина: Сборник статей к 50-летию профессора М. С. Макеева / Под ред. Ю. И. Красносельской и А. С. Федорова. М.: ОГИ, 2019.

См. об эволюции отношений в редакции «Современника», о своеобразной форме «дружбы», в которую облакаются в конце 1840-х и в 1850-е отношения с ведущими сотрудниками: Макеев М. С. Николай Некрасов: поэт и предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики). М.: Макс Пресс, 2009.

Зубков К. Ю. Идеология и биография... С. 77.

Леонтьев К. Н. Моя литературная судьба / Подгот. текста и коммент. С.Н. Дурьлина // Литературное наследство. Т. 22–23. М.: Журнально-газетное объединение, 1935. С. 441.

Зубков К. Ю. Идеология и биография... С. 73.

Как отмечает биограф Евг. Ив. Якушкина Л. М. Равич, библиотека Якушкина-старшего, перешедшая по наследству сыну, образует любопытную пару с библиотекой Чаадаева, поскольку последняя была для Чаадаева второй, к собиранию которой он приступил во время своего длинного европейского путешествия в 1823–1826 г., продав свое прежнее собрание перед отъездом. Библиотека Якушкина, по всей вероятности, довольно схожа с той, что была у Чаадаева до путешествия.

Е. И. Якушкину посвящен целый ряд исследований, из числа которых назовем наиболее существенные в хронологическом порядке: Эйдельман Н. Я. (1) Тайные корреспонденты «Полярной Звезды». М.: Мысль, 1966; (2) Герцен против самодержавия: Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и Вольная печать. М.: Мысль, 1973; Будаев Д. И. Сын декабриста Е. И. Якушкин: (Освобождение крестьян в смоленском имении И. Д. Якушкина) // Проблемы истории общественной мысли и историографии: К 75-летию акад. М. И. Нечкиной. М.: Наука, 1976. С. 66–74; Собиратели книг в России. Вторая половина XIX века / Сост. Л. М. Равич. М.: Книга, 1988; Равич Л. М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). Л.: Наука, 1989.

Изначально дело было основано совместно с Щепкиным-младшим, устроившим к тому же и книжный магазин на Кузнецком мосту, но Щепкин по известному легкомыслию нрава с начала 1860-х гг. отойдет от дел, а Солдатенков будет вести книгоиздание интеллектуальной, серьезной, не рассчитанной на быструю продажу, но долженствующей быть в России литературы вплоть до начала XX века. За его вклад в русское просвещение (и, в частности, за высокие гонорары, выплачивавшиеся им переводчикам, среди которых был и молодой М. О. Гершензон) он получил полуироничное, полууважительное прозвище «Козимо», «Козимо Медичис» (по аналогии с меценатством флорентийских Медичи). См. подробнее: Толстяков А. П. Люди мысли и добра: Русские издатели К. Т. Солдатенков и Н. П. Поляков. М.: Книга, 1984. С. 8–110.

Большую роль сыграл Якушкин и в иконографии декабристов, научившись в середине 1850-х фотографии и сделавший коллекцию фотографических снимков доживших к этому времени декабристов (получив среди них соответствующее дружеское прозвище «Фотограф»).

Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. М: Издание М. и С. Сабашниковых, 1926. (Серия: Записки прошлого. Воспоминания и письма под редакцией С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского).

В 1861 г. его издание на год с небольшим будет возобновлено В. И. Касаткиным (1831–1867), в 1862 г. вынужденным эмигрировать из-за обвинений (вполне обоснованных) в связи с «лондонскими публицистами». Об истории и сотрудниках журнала см.: Собиратели книг в России...

Анастасия Васильевна Якушкина (урожденная Шереметьева), 1806/07– 1846. Ее мать, Надежда Николаевна Шереметьва (урожденная Тютчева, приходилась теткой Федору Ивановичу Тютчеву) была близка с Гоголем и вела с ним интенсивную переписку, частично использованную Якушкиным в публикациях [целиком издана: Переписка Н. В. Гоголя с Н. Н. Шереметьевой / Вступ. и сопроводит. ст. И. А. Виноградова; подгот. текста и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. М.: Наследие, 2001].

Отслужив 25 лет «беспорочной службы», дававшие право на полную пенсию.

Цит. по: Равич Л. М. Указ. соч. С. 111.

Собиратели книг... С. 146.

Цит. по: Равич Л. М. Указ. соч. С. 55.

Шереметев П. С., гр. Заметки 1900–1905. М.: [Т-во скоропечатни А. А. Левенсон], 1905. С. 100–101.

Впрочем, характер Якушкина был далек от благостности: например, вдова декабриста А. В. Ентальцева, близкая знакомая Евгения Ивановича, писала в 1858 г. И. И. Пущину: «Евгения я люблю, хотя он мало про кого говорит хорошо. Ну, да это уж можем и сами ценить и понимать людей; это не мешает видеть Евгения веселым и добрым человеком» [цит. по: Равич Л. М. Указ. соч. С. 33].

Цит. по: Равич Л. М. Указ. соч. С. 123.

Фонд Rossica создан бароном М. А. Корфом; сохраняется по сей день как отдельная часть РНБ, представляя собой уникальное собрание зарубежных изданий о России [см. подробнее: Голубева О. Д. М. А. Корф. СПб.: РНБ, 1995].

После смерти отца старший сын, Вячеслав Евгеньевич, передал в Библиотеку Академии наук архив К. Ф. Рылеева (более 150 ед. хр.), пушкинские материалы были переданы Пушкинскому дому. Основной архив Якушкиных хранится в ГАРФ (бывший ЦГАОР).

Цит. по: Равич Л. М. Указ. соч. С. 113.

Понятие «цивилизация» употребляется Б. в посвящении в господствующем в это время значении – «передовое состояние общества и культуры, а также процесс, ведущий к этому состоянию» [Любензик Х. Ю. Цивилизация // Мир Просвещения: Исторический словарь / Под ред. В. Ферроне и Д. Роша; пер. с ит. Н. Ю. Плавинской под ред. С. Я. Карпа. М.: Памятники исторической мысли, 2003. С. 173]. Впервые существительное «цивилизация» появляется в сочинении маркиза Мирабо-старшего «Друг людей» (1757), вслед за более ранними глаголами и прилагательными с тем же корнем во французском (с середины XVI столетия) и английском (с 1730-х гг.) языках, очень близкими по значению к приобщению к культуре, противопоставлению варварству. Подробнее об истории понятия (и соотношения с немецким Kultur) см.: Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психонетические исследования. В 2 тт. Т. 1: Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запад / Пер. с нем. А. М. Руткевич. М.; СПб: Университетская книга, 2001. С. 59–108.

Генри Томас Бокль (Henry Thomas Buckle, 1821–1862) – английский историк, известен прежде всего как автор «Истории цивилизации в Англии» (“History of Civilization in England”, неоконченный труд), в которой стремился дать позитивистско-научное, детерминистское (с акцентом на географический детерминизм) объяснение истории, понимаемой прежде всего как процесс цивилизации (в смысле расширения и углубления научных знаний и неотделимого от него прогрессирующего развития нравов).

Бокль получил очень широкую известность и популярность в России с начал 1860-х гг. и сохранял ее на протяжении десятилетий, в первую очередь среди просвещенчески ориентированной молодежи. Так, вспоминая о своих гимназических годах, приходящихся на 1870-е гг., В. В. Розанов называет Бокля одним из символов своего времени (и гимназического нигилизма) вместе с Дрэпером, автором «Истории умственного развития Европы» (“History of the intellectual development of Europe”, 1862, вышедшей в рус. пер. в 2-х тт. в 1866 г.). Например, касаясь отношений со старшим братом, в то время учителем гимназии (сначала в Симбирске, затем в Нижнем Новгороде), Розанов пишет, характеризуя воззрения через имена авторов (где Маколей и Гизо – характерные авторы для русских умеренно либеральных и либерально-консервативных воззрений, чьи тексты появляются в русских переводах в те же годы, что и труды Бокля и Дрэпера): «Брат был ценителем Н. Я. Данилевского и Каткова, любил свою нацию, зачитывался Маколеем, Гизо, Грановским. Я же был “нигилист”, во всех отношениях, и когда он раз сказал, что “и Бокль с Дрэпером могут ошибаться”, то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в свою комнату. Словом, все “обычно русское”» [цит. по: Николукин А. Н. Голгофа Василия Розанова. М.: Русский путь, 1998. С. 38].

О чрезвычайной популярности Бокля свидетельствует обилие изданий его главной работы: (1) в 1862 г. началось издание перевода А. Н. Буйницкого и Ф. Н. Ненарокова (СПб.: Лермантов и К^о: тип. Ю. А. Бокрама, 1862–1864), (2) в 1863 г. начал выходить перевод К. Н. Бестужева-Рюмина (СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1863–1864), издаваемый Николаем Тибленом, одним из первых, если не первым проповедником и популяризатором в России воззрений Герберта Спенсера. Первый перевод переиздавался в 1866 г. и 1874–1875 гг. (в 1895 г. в массовом издании Ф. Павленкова вышел уже перевод, выполненный лишь одним А. Н. Буйницким, в свою очередь переизданный в 1896 и 1906 гг.); перевод Бестужева-Рюмина переиздавался в 1864–1865 гг. и в 1873 г. (последнее переиздание предпринято уже после разорения Тиблена и его бегства из России, издателем на этот раз выступил М. О. Вольф [об истории книгоиздательства Вольфа см., в частности: Либрович С. Ф. На книжном посту: Воспоминания, записки, документы. Пг.; М.: Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1916]. Помимо этого, был издан, например, в 1876 г. популярный сокращенный вариант «Истории...» Бокля, подготовленное Осипом Нотовичем (известным журналистом, издателем газеты «Новое время», в дальнейшем приобретенной А. С. Сувориным, сделавшем ее знаменитой). Упомянутый выше В. В. Розанов в одной из статей уже начала XX века приводил слова одного путешественника по России 1860-х, вспоминавшего: «Мне редко приходилось раскрывать в России номер журнала и даже газеты без того, чтобы не встретить имени Бокля; образованная русская молодежь зачитывается “Историей цивилизации” и на многие мысли, в этой книге сказанные, смотрит как на некоторое новое Откровение»

[Розанов В. В. Природа и история. 2-е изд. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1903. С. 168].

Ссылка дана автором на издание: Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. Т. I, ч. II / пер. с англ. К. Бестужева-Рюмина; издание Николая Тиблена. СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1863.

В писарской копии, хранящейся в библиотеке РАНХиГС, карандашом (вероятно, рукой Е. И. Якушкина) помечен прототип Кленина – Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) [см.: Миллер С. А. Рукопись драмы П. Д. Боборыкина «Скорбная братия» // Фонды редких книг научных библиотек: По материалам международной научно-практической конференции «Фонды отделов редких книг научных библиотек в цифровую эпоху» (Санкт-Петербург. 14–15 февраля 2019 г.): сборник докладов. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2019. С. 248].

Обозначение «шеллингист» отсылает к глубокому интересу Григорьева к поздней философии Шеллинга – явлению, довольно нетипичному для времен молодости Григорьева, пришедшейся на 1840-е гг., и вполне уникальному для интеллектуальной атмосферы конца 1850-х – 1860-х гг. Интерес к философии Шеллинга отчасти роднил Григорьева с его младшим современником, ставшим позднее другом и литературным душеприказчиком, Н. Н. Страховым (послужившим прообразом Сахарова, «магистра, 30 л.») [см. подробнее: Ходанович М. А. Влияние философии Шеллинга на мировоззрение почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова // Философия Шеллинга в России / Под общ. ред. В. Ф. Пустарнакова. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998. С. 449–474].

Характеристика «народник» здесь употребляется в смысле, отличном (хоть и родственном) от вошедшего в широкий обиход с 1870-х обозначения сторонников воззрений «аграрного социализма» (генетически связанных с концепциями А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, М. А. Бакунина и П. Л. Лаврова). Имеется в виду общее обозначение для сторонников националистических взглядов, более широкое, чем отдельные конкретные названия, например «славянофилы», «почвенники», «московская партия» и т. п., позволяющее объединить таких лиц, как М. П. Погодин, А. С. Хомяков, Ап. А. Григорьев, М. Н. Катков. Это словоупотребление встречается время от времени и в дальнейшем как еще не требующее оговорок и ограничений от позднейшего значения «народничества»: так, уже в 1-й половине 1890-х в мемуарном очерке о делах Российской академии наук в 1860-е – начале 1870-х гг. бывший неприменный секретарь Академии К. С. Веселовский (кстати, заметим, дядя С. Л. Перовской, руководительницы удавшегося покушения партии «Народная воля» на Александра II 1 марта 1881 г.) пишет, касаясь дела об аренде «Санкт-Петербургских ведомостей», в которых был заинтересован М. Н. Катков, чью сторону приняла графиня А. Д. Блудова, фрейлина (а с 1863 г. – камер-фрейлина) императрицы Марии Александровны: «Графиня Антона Дмитриевна Блудова, жившая с отцом* и всегда интересовавшаяся русской литературой, и в особенности московскими писателями-народниками [выделено нами – А.Т.]» [Веселовский К. С. Отголоски старой памяти: Воспоминания и записки неприменного секретаря Императорской Академии наук / Сост. Е. Ю. Басаргина. СПб.: Реноме, 2017. С. 147].

* Граф Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864), видный российский государственный деятель, в молодые годы – член литературного общества «Арзамас». Ко времени, о котором повествует Веселовский, – председатель Государственного совета, президент Академии наук.

Магистр – в российских университетах XIX – начала XX века ученая степень, аналогичная современной степени кандидата наук. Степень магистра получало лицо, окончившее университет и прошедшее после этого систему экзаменов, свидетельствующих о профессиональной подготовке в соответствующей области (по заведенной практике в зависимости от того, по какой теме экзаменующийся писал магистерскую диссертацию, назначались соответствующие вопросы к экзаменам – процесс подготовки к ним и последующая сдача многократно обстоятельно описаны в университетских мемуарах и дневниках [см., например: Милюков П. Н. Воспоминания / Предисл. Н. Г. Думова. М.: Политиздат, 1991. С. 97–99; Пресняков А. Е. Письма и дневники: 1889–1927 / Отв. ред. А. Н. Цамутали. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005]. Магистерским экзаменам и подготовки диссертации посвящена масса записей 1889 – начала 1900-х гг.). Лицо, выдержавшее магистерские экзамены, именовалось магистрантом, то есть имеющим право представить факультету магистерскую диссертацию. После успешной защиты последний магистрант получал степень магистра, и мог замещать должности экстраординарных профессоров (и читать курсы в качестве приват-доцента). Магистерская степень присваивалась всеми факультетами, за исключением медицинского, а духовные академии имели право присваивать степень магистра богословия [см. подробнее о становлении отечественной системы ученых степеней: Андреев А. Ю. Возникновение системы российских ученых степеней в начале XIX в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2015. № 1 (62). С. 62–87].

Н. Н. Страхов, прообраз Сахарова, в 1867 г. защитил в Императорском Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию «О костях запястья млекопитающих».

Отметим, что Боборькин познакомился с Ап. Григорьевым, как он сам указывал в мемуарном очерке 1877 г., через П. П. Чубинского (1839–1884) – видного деятеля украинофильского движения 1860–1870-х гг., автора стихотворения «Ще не вмерла Україна» (1862, с 1992 – текст официального гимна Украины), а в конце 1850-х – начале 1860-х – студента Санкт-Петербургского университета [Боборькин П. Д. А. А. Григорьев. (Из воспоминаний о пишущей братии) // Григорьев А. А. Воспоминания / Ред. и коммент. Иванова-Разумника. М., Л.: Academia, 1930. С. 567; Боборькин П. Д. Воспоминания. В 2 тт. Т. 1 / Вступ. ст., подгот. текста и прим. Э. Виленской и Л. Ройтберг. М.: Художественная литература, 1965. С. 230].

Для литературы 1860–1880-х гг. характерно особенное внимание к точности воспроизведения речевого рисунка персонажей, что проявляется в многообразных очерках из жизни простонародья, купечества, духовенства. Одним из первых этот интерес уловил и ярко представил Островский, что неоднократно отмечалось первыми критиками его драматических произведений [см.: «Современник» против «Москвитянина»: литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов / Составители: А. В. Вдовин, К. Ю. Зубков, А. С. Федотов. СПб: Нестор-История, 2015]. Из последующего, сохранившего широкую известность до наших дней, достаточно напомнить о Лескове и его «специализации» на быте и нравах русского духовенства. В полемическом ответе Лескову (на заметку, подписанную «Свящ. П. Касторский») Достоевский в «Дневнике писателя» (на то время – отдел в газете «Гражданин», редактировавшейся Достоевским в 1873 г.) язвительно замечал: «Я узнал вас, г-н ряженный, по слогу. Видите ли, в чем тут главная штука: в том, что современные критики и хвалят, пожалуй, иногда современных писателей-художников, и даже публика довольна (потому что, что же ей, наконец, читать?). Но и критика понизилась уже очень давно, да и художники наши, большею частью, смахивают на вывескных маляров, а не на живописцев. Не все, конечно. Есть некоторые и с талантом, но большая часть самозванцы. Во-первых, г-н ряженный, у вас пересолено. Знаете ли вы, что значит говорить эссенциями? Нет? Я вам сейчас объясню. Современный «писатель-художник», дающий типы и отмежевывающий себе какую-нибудь в литературе специальность (ну, выставлять купцов, мужиков и проч.), обыкновенно ходит всю жизнь с карандашом и с тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки; кончает тем, что наберет несколько сот номеров характерных словечек. Начинает потом роман, и чуть заговорит у него купец или духовное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному. Читатели хохочут и хвалят, и, уж кажется бы, верно: дословно с натуры записано, но оказывается, что хуже лжи, именно потому, что купец али солдат в романе говорят эссенциями, то есть как никогда ни один купец и ни один солдат не говорит в натуре. Он, например, в натуре скажет такую-то, записанную вами от него же фразу, из десяти фраз в одиннадцатую. Одиннадцатое словечко характерно и безобразно, а десять словечек перед тем ничего, как и у всех людей. А у типиста-художника он говорит характерностями сплошь, по записанному, – и выходит неправда. Выведенный тип говорит как по книге. Публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете» [Достоевский Ф. М. Ряженный // Он же. Дневник писателя. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Астрель; АСТ, 2004. С. 113–114]. Большую известность в свое время, в 1860-е, за счет знания говоривших и быта прикамья получил Ф. М. Решетников, к этнографической точности стремился и во многом ее достигал Г. И. Успенский, за знание коннозаводческого словаря уже на рубеже 1880–1890-х особенных похвал удостоивался в критике роман А. И. Эртеля «Гарденины». Эта литературная линия сохранила свое значение и в дальнейшем: так, именно за своеобразие, этнографизм языка первоначально были удостоены внимания первые произведения Леонида Леонова.

Жаргон (jargon, фр.) – испорченное наречие, местная речь, говор. Бурсацкий жаргон – речь, отдающая семинарией (отметим сразу же, что семинарская характеристика, жаргон Элеонского, будет нарастать по ходу пьесы, и в 3-й сцене IV акта он говорит почти исключительно им).

Несмотря на идейную направленность, которую приобрели с конца 1850-х все русские толстые журналы (процесс этот активно начался еще на рубеже 1830–1840-х гг., с момента появления конкуренции первому отечественному толстому журналу, «Библиотеке для чтения», и необходимости более точного позиционирования на журнальном рынке), и, соответственно, определяющую роль критики и обзоров, основной читательский интерес заключался в беллетристике [см., например: Евгеньев-Максимов В. «Современник» в 40–50 гг.: От Белинского до Чернышевского. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934; в особенности ч. 1, посвященную организации журнала в первые два года его существования]. Соответственно, журналы старались выставить лучшие материалы на месяцы подписки – последние месяцы уходящего и первые месяцы наступающего года, при этом нередко особенно выигрышные вещи помещались так, чтобы одна их часть печаталась в уходящем, а другая – уже в номерах нового года (и, напротив, – как отдельное рекламное сообщение – редакции иногда извещали читателей, что обещанное произведение целиком поместится в номерах одного года).

Трактир в середине XIX века – заведение невысокого уровня для непритязательной публики. Обслуживанием посетителей в трактирах занимались половые: в отличие от официантов, работавших в ресторанах, они были одеты в русский костюм.

О петербургских трактирах см. обстоятельное исследование: Конечный А. «Трактирные заведения» как факт быта и литературной жизни старого Петербурга // Он же. Былой Петербург: проза будней и поэзия праздника. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 153–211.

Здесь: появление темы, пока прямо не названной, лишь обозначенной через противопоставление мы/они – «люди сороковых годов» и «новые», – которая станет сквозной.

Цитата из народного стиха «Страшный суд». См.: Голубиная книга: Русские народные духовные стихи XI–XIX вв. М.: Московский рабочий, 1991. С. 243. Особый интерес к русской народной духовной поэзии приходится на 2-ю половину 1850-х – начало 1860-х гг. Примечательно, что 1-е издание Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона под ред. К. К. Арсеньева в статье «Голубиная книга» (автор А. И. Кирпичников) дает в библиографии из семи работ, им посвященных (помимо общих курсов по истории литературы), пять – вышедших в период с 1856 по 1861 г.; а, если к ним прибавить еще и магистерскую диссертацию Ф. И. Буслаева, отпечатанную в 1848 г., шесть из семи работ придутся на годы, близкие ко времени действия пьесы.

Формулировка, приписываемая тем или иным раскольничьим сектам/толкам – от молокан до федосеевцев [см.: Живов В. М. Русский грех и русское спасение. Публичная лекция. 2009. <http://polit.ru/article/2009/08/13/pokojanije/>; Иванов С. А. «Не согрешишь – не покаешься»: о парадоксах спасения души на Руси и в Византии // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2016. № 9. С. 33–39] и в обыденном представлении зачастую связываемая с хлыстами/хлыстовством [см. о хлыстах и хлыстовстве в контексте русской «высокой» культуры: Эткинд А. М. Хлыст. Секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение, 1998].

Херес – белое крепленое вино, производимое в провинции Кадис. Популярность приобрело, в ряду других крепленых вин пиренейского полуострова, в XVIII веке в Англии прежде всего благодаря возможности морской транспортировки без риска для качества вина. Среди других вин в XIX в. сравнительно недорогое. Помимо прочего, хересами именовали отнюдь не только крепленое вино из Херес-де-ла-Фронтера и окрестностей, но и аналогичные или сходные вина из других местностей (иногда для различения используя кальку с английского – шэри).

Антониева пища – скудная, постническая пища. Название связано с преп. Антонием Великим (ум. 356), основателем пустынножительства, отшельнического монашества.

Первые строки из III стихотворения из цикла «Монологи» Н. П. Огарева (1844 г., опубликовано впервые, неполно – Современник, 1847, № 3). С. А. Рейсер и Н. П. Сурина в академическом издании стихотворений Огарева отмечали: «“Монологи” Огарева были отмечены русской критикой 50-х годов как “типическое” выражение “современного человека”. <...> О дальнейшем успехе “Монологов” можно еще судить по неоднократным перепечаткам стихотворения в антологиях, школьных хрестоматиях, чтецах-декламаторах и пр. Известен также ряд музыкальных переложений стихотворения <...>» [Огарев Н. П. Стихотворения и поэмы. В 2 тт. Т. 1 / Вступ. ст. С. А. Рейсера и Б. П. Козьмина; ред. и прим. С. А. Рейсера и Н. П. Суриной. М.: Советский писатель, 1937. С. 386].

В силу большой известности стихотворения современникам автора, а также потому, что продолжающие процитированные Клепиным строки проясняют один из аспектов разворачивающейся драмы (столкновения, близости и одновременной далекости друг от друга части «людей сороковых годов» и нигилистов), процитируем III стихотворение цикла целиком:

Чего хочу?.. Чего?.. О! так желаний много,
 Так к выходу их силе нужен путь,
 Что кажется порой – их внутренней тревогой
 Сожжется мозг и разорвется грудь.
 Чего хочу? Всего со всею полнотою!
 Я жажду знать, и подвигов хочу,
 Еще хочу любить с безумною тоскою,
 Весь трепет жизни чувствовать хочу!
*А тайне чувствую, что все желанья тщетны,
 И жизнь скупа, и внутренно я хил,
 Мои стремления замолкнут безответны,
 В попытках я запас растрачу сил* [выделено нами – А.Т.].
 Я сам себе кажусь подавленным страданьем,
 Каким-то жалким, маленьким глупцом,
 Среди безбрежности затерянным созданием,
 Томящимся в брожении пустом...
 Дух вечности обнять за раз не в нашей доле,
 А чашу жизни пьем мы по глоткам,
 О том, что выпито, мы все жалеем боле,
 Пустое дно все больше видно нам;
 И с каждым днем душе тяжеле устарелость,
 Больше помнить и страшней желать,
 И кажется, что жить – отчаянная смелость;
 Но биться пульс не может перестать,
 И дальше я живу в стремленье безотрадном,
 И жизни крест беру я на себя,
 И весь душевный жар несу в движенье жадном,
 За мигом миг хватая и губя.

И все хочу!.. Чего?.. О! так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой – их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.

*[Стихотворения Н.П. Огарева / Под ред. М.О. Гершензона. В 2 тт. Т. I.
М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1904. С. 83–85].*

Неточная цитата из самого известного, снискавшего автору громкий успех, романа А. Ф. Писемского (1821–1881) «Тысяча душ» (первая публикация: «Отечественные записки», 1858, № 1–6). Фраза характеризует издателя петербургского журнала, впечатление главного героя от первого знакомства с ним в его с достатком и вкусом обставленном кабинете: «Вообще во всей его фигуре было что-то джентльменское, как бы говорившее вам, что он всю жизнь честно думал и хорошо ел» [Писемский А. Ф. Сочинения. В 9 т. Т. 3 /Издание под наблюдением А. П. Могилянского; подгот. текста и прим. М. А. Еремина. М.: Правда, 1959. С. 229].

Ерихонцы – одновременно отсылка к семинарскому прошлому обсуждаемого героя (по выбору лексики) и обозначение шумной известности журнальных конкурентов Клеина («иерихонские трубы»); под конкурентами, ерихонцами, как выяснится из дальнейшего хода пьесы (акт II), подразумевается круг «Современника».

...на Шукин... – имеется в виду Шукин двор, рынок в Петербурге (между Садовой и Фонтанкой), на котором торговали сельскими продуктами, названный по имени купца Ивана Шукина, владевшего этой землей в середине XVIII века. Шукин двор прекратил отдельное существование в 1833 г., когда был объединен в один рынок с соседним Апраксиным (имя последнего стало наиболее распространенным общим наименованием для них вместе). После большого пожара 1862 г., в 1863–1870-х гг., была осуществлена систематическая застройка района, в основных чертах сохранившаяся по сей день и обычно называемая «Апраксин двор».

Район этот должен был хорошо быть известен героям повествования уже потому, что, помимо разнообразной другой торговли, на всем протяжении XIX и части XX века он был букинистическим центром Петербурга [см. в частности: Свешников Н. И. Воспоминания пропавшего человека / Подгот. текста, сост., вступ. ст., коммент. А. И. Рейтблат. М.: Новое литературное обозрение, 1996].

Эмансипация – распространенный оборот в 1840–1860-е гг., прилагавшийся к разным сюжетам (от женской эмансипации до эмансипации крестьян) и позволявший мыслить их если не как части единого процесса, то как взаимосвязанные. В дальнейшем оборот русифицировался, и вошел в широкий оборот, в частности в виде известной конструкции «освободительное движение». В поздних воспоминаниях, написанных, вероятно, уже в годы Первой мировой войны, М. А. Антонович, один из ключевых деятелей шестидесятых годов, преемник Добролюбова на посту главного литературного критика «Современника» и ведущий автор журнала после ареста Чернышевского в 1862 г. и вплоть до закрытия журнала в 1866 г., писал, уже используя русскую кальку, но хорошо передавая логику начала 1860-х: «И когда действительно было провозглашено освобождение крепостных, то ни у кого уже не оставалось сомнения в том, что освободительное движение началось, что за этим освобождением крестьян *последует освобождение всего, что до сих пор было несвободно, закрепощено* [выделено нами – А.Т.]» [Антонович М. А. Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон к А. И. Герцену // Шестидесятые годы:

М. А. Антонович. Воспоминания. Г. З. Елисеев. Воспоминания / Вступ. статьи, коммент. и ред. В. Евгеньева-Максимова и Г. Ф. Тизенгаузена. М., Л.: Academia, 1933. С. 49].

Прообразом Бурилина послужил, по всей вероятности, А. Н. Серов (1820–1871) – композитор, сотрудничавший с «Библиотекой для чтения» в одно время с Боборыкиным и оцениваемый последним в позднейшем мемуарном очерке как «вагнерист чистой воды» [Боборыкин П. Д. “Mélodie en Fa”. (Из воспоминаний об А. Г. Рубинштейне) (1904) // Боборыкин П. Д. Воспоминания. В 2 тт. Т. 2 / Подгот. текста и прим. Э. Виленской и Л. Ройтберг. М.: Художественная литература, 1965. С. 451]. В том же мемуарном очерке Боборыкин пишет: «С Серовым я познакомился у Писемского, когда стал постоянным сотрудником “Библиотеки для чтения”, на вечере. За ужином он овладел разговором и начал очень ядовито и задорно острить над Рубинштейном, повторяя слово “тапер”. Этот пренебрежительный термин “тапер” нашел я перед тем в его музыкальном фельетоне “Библиотеки для чтения”, и не одному мне было неприятно видеть в таком умном и даровитом человеке подобную резкость, которая так чудовищно противоречила тому, что Рубинштейн представлял собой как пианист» [Там же]. О Серове см. воспоминания жены (и матери художника): Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александрович. Воспоминания В. С. Серовой. СПб: Шиповник, 1914; В. С. Серова. Как рос мой сын: [о В. А. Серове] / Сост. и науч. ред. И. С. Зильберштейн; статьи и коммент. И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова. Л.: Художник РСФСР, 1968.

Боборыкин был хорошо знаком с М. А. Балакиревым, с которым учился вместе в нижегородской гимназии. Балакирев был старше его на класс. Потом они в один год поступили в Казанский университет, и в Петербурге поддерживали отношения: через него он в 1860 г. познакомился с М. А. Мусоргским и В. В. Стасовым [Боборыкин П. Д. “Mélodie en Fa”... С. 450]. Стасов выведен в образе одного из «братьев Трусовых»: семейство Стасовых (детей архитектора В. П. Стасова) активно интересовалось всеми проявлениями художественной и множеством граней общественной жизни России. Помимо В. В. Стасова, крупного музыкального и художественного критика, существенную известность (сверх основной, адвокатской, деятельности) в творческих кругах приобрел его брат Дмитрий. Их сестра Надежда – заметная фигура в русском (прото-)феминистском движении 1860-х гг. и последующих лет [см.: Стасов В. В. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очерки. СПб: Тип. М. Меркушева, 1899; Легкий Д. М. Дмитрий Васильевич Стасов: Судебная реформа 1864 г. и формирование присяжной адвокатуры. СПб: Дмитрий Буланин, 2011].

Цитата из стихотворения «Друзьям» Н. П. Огарева. Стихотворение впервые опубликовано в 1856 г. [Огарев Н. Стихотворения. Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1856. С. 5]. В лондонском отдельном книжном издании стихотворений Огарева (1858) оно помещено первым в сборнике, как послание друзьям-читателям, эта же логика сохранена и в издании, подготовленном М. О. Гершензоном [Стихотворения Н. П. Огарева / Под ред. М. О. Гершензона. В 2 тт. Т. I. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1904. С. 1].

Не только вследствие его программного характера, но и в силу его известности для большинства интересовавшихся и ценивших в эти годы поэзию Огарева необходимо привести последующие за цитированными Клепиным строки, вносящие новый оттенок в смысл сказанного (и примыкающего к дальнейшим спорам Элеонского с Погореловым и с редакторским кружком Карачеева):

И с жизнью рано мы в борьбу вступили,
И юных сил мы в битве не щадили.

Но мы вокруг не встретили участия,
И лучшие надежды и мечты,
Как листья средь осеннего ненастья,
Попадали и сухи и желты, —
И грустно мы остались между нами,
Сплетая дружно голыми ветвями.

И на кладбище стали мы похожи:
Мы много чувств, и образов, и дум
В душе глубоко погребли... И что же?
Упрек ли небу скажет дерзкий ум?
К чему упрек?.. Смиренье в душу вложим
И в ней затворимся — без желчи, если можем.

В поздних воспоминаниях, опубликованных уже в 1906–1913 гг., Боборыкин вернулся к той же характеристике писательской разьединенности, свойственной, на его взгляд, началу 1860-х гг.: «Журнальный мир не был объединен общностью своих интересов. <...> Пишущая братия сидела по редакциям. Не устраивалось ни обедов, ни банкетов, ни чтений в известном духе» [Боборыкин П. Д. Воспоминания... Т. 1. С. 231].

Словарь В. И. Даля поясняет: «Салоп, франц. – верхняя женская одежда, большую частью теплая, род круглого плаща; ныне заменен бурнусами, пальтами и шубками», «салопница – нищая, которая ходит в оборванном салопе». В переносном смысле, преобладавшем уже в 1860-е гг., по крайней мере в публицистике, – представитель отсталых взглядов и бытовых привычек вместе, архаичный и одновременно вульгарный персонаж.

«Новые люди» – одно из ключевых понятий шестидесятых годов, вынесенное в подзаголовок романа «Что делать?» Н. Г. Чернышевского (1863): «Из рассказов о новых людях». Напомним, что в целом роман посвящен повествованию об обычных (что всячески подчеркивается) «новых людях», обладающих рядовыми качествами и способностями, и, следовательно, способных к новой жизни, к построению быта и отношений, радикально отличных от прежних, построенных, в отличие от них, на принципах «разумного эгоизма» (тогда как «старые люди» руководствуются либо эгоизмом неразумным, либо альтруизмом, противоречащим человеческой природе, а значит, никогда не реализуемым и порождающим в итоге неразумие и неререфлективное, скрытое от само себя следование эгоизму). Помимо обычных, есть и «необычный», исключительный «новый» человек – Рахметов (отличный в том числе и по своей природе – по происхождению, аристократ, представитель высшей породы, что проявляется в том числе в увлечении биологизмом, натуралистическими концепциями в 1860-е; реакцией на это станут «Исторические письма» П. Д. Лаврова и «Что такое прогресс?» Н. К. Михайловского, появляющиеся в конце 1860-х [см.: Тесля А. А. Основоположения теории Н. К. Михайловского: формирование «субъективной социологии», конец 1860-х – середина 1870-х годов // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 5, № 2. С. 55–78]).

Идея «новых людей» в романе «Что делать?» имеет отчетливые богословские основания, проанализированные, в частности, в работе И. Паперно [Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 174–183], которые в конечном счете сводятся к «чуду преобразования».

О расхожести и осмыслении понятия «новые люди» в 1863–1864 гг. см., в частности, в дебютном романе Н. С. Лескова «Некуда»: «Общество распалось не только прежним делением на аристократию чина, аристократию капитала и плебейство, но из него произошло еще небывалое дотоле выделение так называемых в то время новых людей. Выделение этого ассортимента почти одновременно происходило из весьма различных слоев провинциального общества. Сюда попадали некоторые молодые дворяне, семинаристы, учителя уездные, учителя домашние, чиновники самых различных ведомств и даже духовенство. Справедливость заставляет сказать, что едва ли не ранее прочих и не сильнее прочих в это новое выделение вошли молодые учителя, уездные и домашние; за ними несколько позже и несколько слабее – чиновники, затем, еще моментом позже, зато с неудержимым стремлением сюда ринулись семинаристы. Молодое дворянство шло еще позже и нерешительнее; духовенство сепарировалось только в очень небольшом числе своих представителей» [Лесков Н. С. Некуда // Собрание сочинений. В 12 тт. Т. IV. М.: Правда, 1989. С. 120].

Обратим внимание, что «люди сороковых годов» упоминаются Клеениным следом за «новыми» людьми, как их противоположность, в то же время «Что делать? Из рассказов о новых людях» появляется как часть полемики по поводу «Отцов и детей» И. С. Тургенева.

«Люди сороковых годов» – оборот, вошедший в широкое употребление с конца 1860-х гг., когда начинается второй этап полемики по поводу соотношения 1840-х и 1860-х (в ней примут участие все ведущие авторы эпохи), а сама конструкция станет названием романа А. Ф. Писемского, начатого в 1867 г. и опубликованного в «Заре» (редактируемой, заметим попутно, Н. Н. Страховым, прообразом Сахарова) в 1869 г. Одним из центральных эпизодов полемики станут дебаты вокруг «Воспоминаний о Белинском» И. С. Тургенева (1869), метящих во многом в Некрасова (что отзовется и в последующем развитии драмы Боборыкина, где вторым центральным узлом, помимо столкновения Клеенина и Элеонского, явится обсуждение редакции «Современника» и ее нравов в намеренно смещенной временной перспективе). О спорах о «людях сороковых годов» см.: Кантор В. К. Русская эстетика второй половины XIX века и общественная борьба. М.: Искусство, 1978; Мостовая Н. Н. И. С. Тургенев и русская журналистика 70-х годов XIX века. Л.: Наука, 1983. С. 23–42.

В этой и предшествующей репликах Кленина обобщенно и утрированно выражается спор конца 1850-х – начала 1860-х гг. по поводу «лишних» людей и обличения их со стороны «реалистов» (понятие, введенное несколько позднее Писаревым и вошедшее в оборот в связи с противопоставлением идеализма, или прекраснодушия, говоря критическим языком кружка Станкевича, растиражированным Бакуниным, и трезвого, реального взгляда на мир).

Введение этого сюжета готовит последующее столкновение Элеонского в редакции журнала, отсылая к расхождениям в редакции «Современника» в 1856–1860 гг. по линии эстетики (что публицистически будет представлять в глазах оппонентов в проповеди чистого искусства, искусства ради искусства) и противостоящей ей позиции, утверждающей прежде всего общественную значимость искусства, его полезность. Другая сторона спора – полемика вокруг бесплодности «людей сороковых годов», их неспособности к «делу», символами чего станут герои Тургенева и Обломов Гончарова.

В репликах Кленина целый набор ключевых слов «людей сороковых годов», при этом как связанных с Ап. Григорьевым, его ближайшим реальным прообразом («почва»), так и свойственных скорее не для конкретного автора, а для обобщенного языка людей того поколения, памятных в том числе и по манере изъясняться Кирсанова-старшего («гуманный принцип», «искать своих идеалов»).

...Немецких книжек и всяких ваших Гегелей... – обобщенный образ более или менее серьезной теоретической подготовки, характеризующей не столько поколенческое различие, сколько социальное. Так, Антонович вспоминал, как, несколько сблизившись с Добролюбовым, получил от того в изучение (с рекомендацией «проштудировать») «Сущность христианства» и «Сущность религии» Фейербаха. «А знаете ли, – сказал он при этом, – кто меня учил философии, да и не одной только философии? Н. Г. Чернышевский, – как будто для довершения полной параллели и аналогии с тем, что у нас бывало прежде: Герцен и Бакунин учили философии Белинского, Белинский учил уму-разуму Некрасова и Панаева» [Антонович М. А. Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове // Шестидесятые годы... С. 138].

«Почва» и «веянье» – ключевые понятия зрелой эстетики Ап. Григорьева, воспринятые от него в дальнейшем К. Н. Леонтьевым, вынесшим второе из них в заглавие своей последней большой прижизненной статьи: «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого. Критический этюд» (Русский вестник. 1890. № 6–8). Об эстетике Ап. Григорьева см.: Егоров Б. Ф. Избранное: Эстетические идеи в России XIX века. СПб: Летний сад, 2009. С. 176–231.

...Одет по-бальному... – здесь акцентируется вхожесть И. С. Тургенева, прообраза Погорелова, в светское общество, «хорошее общество» Москвы и Петербурга 2-й пол. 1850-х – начала 1860-х годов [см., например: Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт / Предисл., прим. Г. П. Георгиевского. М.: Скоропечатня А. А. Левенсон, 1915]. Светскость Тургенева была не столько его действительной включенностью в светское общество, сколько воспринималась так значительной, если не большей, частью литературного мира на контрасте с собственными привычками и кругом общения. Не избавлен был от этого и Боборыкин, оставивший в своих поздних мемуарах куда менее комплиментарное и явно несущее следы недовольства описываемым персонажем свидетельство о Тургеневе, чем в очерках, посвященных ему (прежде всего во время, близлежащее к его кончине и похоронам) [см. по указателю имен: Боборыкин П. Д. Воспоминания...].

Такого рода высказывания свойственны Тургеневу и в начале 1860-х. Так, например, 22 декабря 1862 г. (3 января 1863 г. по н. с.) он пишет Борисову из Парижа: «Я решительно ничего не могу делать – кое-что вертится в голове, но ничего не ложится на бумагу». Однако более всего они характерны для периода после публикации в 1867 г. «Дыма» и, по крайней мере относительной, неудачи романа.

Интерес к буддизму связан во многом с увлечением русского общества философией Шопенгауэра, затронувшим не только Фета и Тургенева, но даже радикального критика Варфоломея Зайцева, напечатавшего в «Русском слове» (1864, № 12) большую и проникнутую симпатией статью о нем. В ней Шопенгауэр именовался «одним из замечательнейших мыслителей» Германии и трактуя его роль как «расчистку поля для деятельности естественных наук» [см.: Зайцев В. А. Избранные сочинения. В 2 тт. Т. 1: 1863–1865 / Под ред. и с примеч. Б. П. Козьмина. М.: Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1934. С. 267–303].

Аллюзия на рассказ И. С. Тургенева «Призраки», опубликованный в журнале Ф. М. Достоевского «Эпоха» (1864). Напомним, этот же рассказ спародировал Достоевский в «Бесах», на что Тургенев в письме к Полонскому отзывается в 1871 г. демонстративно спокойно, но полтора года спустя в письме к Милютиной от 3(15) декабря 1872 г. взрывается: «Достоевский позволил себе нечто худшее, чем пародию... он представил меня под именем Кармазинова, тайно сочувствующим нечаевской истории. Странно только то, что он выбрал для пародии единственную повесть, помещенную мною в издаваемом некогда им журнале, повесть, за которую он осыпал меня благодарственными и похвальными письмами» [Клеман М. К. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева / Под ред. Н. К. Пиксанова. М., Л.: Academia, 1934. С. 213].

Санкюлоты (франц. *sans-culottes*; неточно переводится словами «бесштанники», «голоштанники») – в эпоху Французской революции 1789–1794 гг. так назывались революционно настроенные представители простонародья, прежде всего городской бедноты, в отличие от представителей высших классов: последние носили *culottes*, т. е. штаны по колено, с чулками, а первые – панталоны, длинные штаны до пят.

Ганимéd (Γανυμήδης) – прекрасный юноша, сын троянского царя Троса, похищенный из-за своей красоты Зевсом, который сделал его виночерпием на пирах богов и своим возлюбленным.

Торговый дом Фохта, существовавший с 1817 г., вел торговлю винами (в том числе располагая собственными виноградниками на Кавказе).

Пивоварня А.-Ф. Кромна существовала в Петербурге с конца XVIII века – ее основатель служил пекарем при дворе Екатерины II. Как пишет Ю. Демиденко: «Согласно семейному преданию, императрица и дала Крону денег на обзаведение собственным делом. Бывший пекарь совместно с компаньоном Даниельсоном устроил свою пивоварню недалеко от Александро-Невского монастыря, а дела его пошли так успешно, что уже в 1804 году его предприятие выпускало пять тысяч бочек пива в год. Производство это можно было считать образцовым, неслучайно в 1818 году Крон и Даниельсон выпустили пособие для начинающих пивоваров: «Описание пивоваренного завода, находящегося в С. – Петербурге, и способов приготовления на оном пива и портера по Англинской методе, сочиненное содержателями сего завода Кроном и Даниельсоном». Пивоваренное заведение Крона осуществляло поставку пива ко двору. В 1850-м году предприятие сменило адрес, переехав к Калинкину мосту. Наследник Крона покинул Петербург и, обосновавшись на Мадейре, сделался поставщиком вин. Новые же владельцы заведения не забывали указывать уже ставшую известной марку – «Калашниковский пиво-медоваренный завод (быв. А. Крон и К°)».

С 1840-х годов на пивоварнях Крона начали изготавливать «Баварское пиво низкого брожения», пользовавшееся большим спросом. А в 1900–1910-е годы «Калашниковский пиво-медоваренный завод» выпускал «Баварское» темное и светлое, «Новое» темное и светлое, «Санкт-Петербургское Кабинетское», «Венское столовое» темное и светлое, «Мартовское», «Столовое», фирменное «Кроновское» темное и светлое, «Мюнхенское», «Пильзенское», «Богемское», английский портер, меды – ягодно-фруктовый, фруктовый, лимонный, розовый. Завод содержал и собственное заведение искусственных шипучих ягодных, фруктовых вод и лимонадов» [Демиденко Ю. Что пили в старом Петербурге // Теория моды. 2011. № 4 (22). https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/22_tm_4_2011/article/18828/].

Имеется в виду басня И. А. Крылова «Мор зверей» (1808). Примечательно, что у Крылова виновным и несущим жертву за всех оказывается вол, а не осел. Осел же выступает жертвой в аналогичной басне Лафонтена, послужившей Крылову исходником. Тем самым получается, что Элеонский не знает хрестоматийной басни Крылова, но знаком (вопреки собственным уверениям в неучености) с французским оригиналом, и оскорбляется им (равно как не знает или забыл русский текст и Бурилин, аналогично Элеонскому воспринимающий реплику Кленина как завуалированное оскорбление неприятного ему литератора-пролетария). Однако Кленин цитирует именно Крылова, и тем самым не имеет в виду оскорбить собеседника, поскольку у Крылова вол оказывается жертвой, но не по причине своей глупости, а из-за простодушия (воистину всерьез воспринимая свое положение как следствие вины, греха).

Малантандю (фр. malentendu) – недоразумение, неувязка, оплошность.

Личная жизнь Ап. Григорьева отличалась и известной неупорядоченностью, и несчастностью; при этом трудно судить со стороны и по отдалении времени, что за чем следовало. Первая большая любовь, повлиявшая на всю его последующую (в том числе литературную) жизнь, оказалась обращена на Антонину Федоровну Корш – одну из девиц большого и известного в русской истории семейства Коршей.

Один из ее братьев, В. Ф. Корш, был с 1855 по 1862 г. редактором «Московских ведомостей», а с 1863 и по 1874 г. – редактором «Санкт-Петербургских ведомостей», превратившим их в ведущее либеральное издание, в котором составили себе первую известность сделавшие затем себе большие карьеры А. С. Суворин и В. П. Буренин, с конца 1870-х ставшие личными и литературными последовательными неприятелями Боборыкина. Другой брат, Евгений, после раскола в редакции Катковского «Русского вестника» в 1858 г., возглавил «Атеней» (1858–1862), орган московских «людей сороковых годов». Любовь Корш вышла замуж за Никиту Ивановича Крылова, знаменитого в 1840-е годы профессора римского права Московского университета (его учеником был Ап. Григорьев).

Влюбленность в Антонину Корш оказывается несчастливой – Григорьев встречает соперника в лице Константина Дмитриевича Кавелина, в дальнейшем известного русского юриста и историка права. Не выдерживая создавшегося положения, Григорьев бежит из Москвы, оставив должность секретаря университетского правления, и проводит следующие годы в Петербурге, литератором-поденщиком, обильно печатаясь в «Репертуаре и пантеоне» и переживая первый большой взлет своего поэтического творчества.

В 1847 г., после петербургской загульной, по крайней мере временами, жизни, Григорьев возвращается в Москву и предпринимает попытку остепениться. Путь для этого он выбирает вполне «романтический» – и женится на сестре Антонины Корш (Кавелиной), Лидии. Первые годы их жизнь выглядит довольно мирной, но дальше все ширится семейный разлад (к тому же с годами Лидия приобщится к алкогольной слабости Аполлона – в конце концов жизнь ее закончится более чем печально, она сопьется и умрет больной старухой в 1883 г., сгорев заживо).

На 1851–1854 гг. приходится взлет деятельности Григорьева-критика, ставшего главной теоретической силой «молодой редакции» «Москвитянина», формулирующего основы своего «органического воззрения» и истолковывающего вместе с другими сотрудниками журнала, прежде всего Энгельгардом и Алмазовым, художественный смысл и принципы драматургии Островского, пытаясь выстроить новую эстетическую систему, вне споров 1840-х годов, где искусство понимается как самостоятельная, не сводимая к какому-либо иному началу реальность.

В 1850 г. начнется другой большой роман в жизни Григорьева: он влюбится в Леониду Яковлевну Визард, молодую девушку из семейства, тесно связанного с тем же кругом, в котором прошли молодые годы Григорьева (брат Леониды Визард был домашним секретарем Грановского, сама она жила некоторое время в семействе Фролова, ближайшего друга Грановского, а их обоих связывала большая близость с Кетчерами). Визард не отвечала Григорьеву взаимностью, но его чувство к ней, как полагал Иванов-Разумник, было наиболее глубоким, по крайней мере последнее свое стихотворение, уже 1864 г., он скрытым образом посвятил именно ей [Иванов-Разумник. Аполлон Григорьев // Григорьев А. А.

Воспоминания... С. 631]. В конце 1856 г. Леонида Визард выходит замуж за Владыкина, студенческого товарища Сеченова [отметим попутно сложную переплетенность житейских и литературных отношений: Сеченов и его отношения с четой Боковых, семьей домашнего врача Чернышевских, послужили последнему одним из источников для сюжета «Что делать?». Впоследствии уже в жизни и независимо от романа, к тому времени еще целиком не опубликованного, повторится часть тех ходов, которые вообразил для своих героев Чернышевский. – см.: Рейсер С. А. Некоторые проблемы изучения романа «Что делать?» // Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях / Изд. подгот. Т. И. Орнатская и С. А. Рейсер; примеч. С. А. Рейсер. Л.: Наука, 1975].

В июле 1857 г., после окончательной неудачи возобновить и установить на новых началах «Москвитянин» или найти другую прочную журнальную трибуну, Григорьев, видимо, не без помощи Погодина [Виттакер Р., Егоров Б. Ф. Жизнь Григорьева в письмах // Григорьев А. А. Письма. СПб.: Наука, 1999. С. 300], с которым его связывали самые прочные отношения со времен университета и вплоть до конца жизни (более половины всех сохранившихся писем Григорьева составляют его письма к Погодину), принимает приглашение Трубецких и уезжает в Италию в качестве домашнего учителя 15-летнего князя. В письмах Е. С. Протоповой (бывшей учительнице Визард по музыке), сохранившихся, увы, лишь по явно неполной публикации 1865 г., Григорьев делится своими переживаниями и размышлениями о прошлом. В конце 1858 г. Григорьев возвращается в Россию. Познакомившись в Париже с графом Кушелевым-Безбородко, безалаберным и взбалмошным меценатом, он получает от того предложение возглавить основанный им журнал «Русское слово» [в этом контексте и произойдет вскоре знакомство Григорьева с Боборыкиным]. Впрочем, отношения их почти сразу разладятся, когда окажется, что Григорьев – не единственный редактор журнала, а также независимо от этих принципиальных вопросов, выяснится, что он (если не вообще, то уже) совершенно неспособен к регулярной редакторской работе, опустившись до каких-то мутных дел с деньгами, взятыми из редакционной кассы для авторов, но до авторов не дошедших [см.: Книжник-Ветров И.С. П. Л. Лавров в его письмах // Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению / Под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 284–285, 288]. Далее будут совсем смутные годы – случайного сотрудничества в «Русском мире», в «Сыне Отечества», с 1861 г. Григорьев найдет более прочное пристанище во «Времени» братьев Достоевских, но и здесь все будет весьма далеко от единодушия; все закончится отъездом Григорьева в Оренбург, где он будет учителем в местном кадетском корпусе. Отъезд этот будет связан с последним большим романом в жизни Григорьева: где-то в конце 1858 или начале 1859 года он познакомится с Марией Федоровной (фамилия ее неизвестна), девицей легкого поведения, приведенной в номер к Григорьеву. Случайная связь обернется тяжелым романом, и закончится в конце концов разрывом в 1862 г.

По возвращении из Оренбурга он вновь примется сотрудничать во «Времени» Достоевских, потом – в «Эпохе», которую они начнут издавать после запрещения «Времени» в 1863 г. за статью Н. Н. Страхова по поводу польского вопроса, воспринятую как недопустимое превозношение Польши и поляков перед Россией. Одновременно с сотрудничеством с журналом Достоевских, Григорьев пробует вновь самостоятельное редакторство, взявшись руководить издаваемым Стелловским «Якорем» (и сатирическим приложением к нему – «Оса»), но и там он не уживается; впрочем, нужда в деньгах не дает

ему вовсе уйти и из этого журнала – в 1864 г. он продолжает работать в нем, но теперь уже в качестве переводчика [Виттакер Р., Егоров Б. Ф. Жизнь Григорьева... С. 304]. В последний год он неоднократно сидит в долговом отделении (долговой яме, по выражению той эпохи), находя это даже удобным для себя – дабы работать без отвлечения, что трудно ему обеспечить своими силами. Умер Григорьев 25 сентября 1864 г. [об Ап. Григорьеве см. подробнее: Виттакер Р. Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822–1864 гг.) М.: Common place, 2020; Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев. М.: Молодая гвардия, 2000].

Уже из сказанного видно, насколько история, кратко излагаемая Элеонским Кленину похожа на обстоятельства жизни Григорьева, – и для последующего сюжета основанием служит история отношения Григорьева с Марией Федоровной (подробно изложенная им самим в письмах к Н. Н. Страхову). Однако Элеонский не просто «запирается», отказываясь признавать знание реальных обстоятельств жизни своего собеседника – его последующая отсылка к типичности происходящего имеет основание: достаточно вспомнить изложенную Герценом в «Былом и думах» историю Боткина и некой француженки Арманс, девицы также не слишком скромного поведения, завершившуюся браком и стремительным расставанием новоявленных супругов. Не менее характерны будут разнообразные истории из личной жизни ближайшего друга Герцена, Н. П. Огарева – начиная с его первого брака, через несколько лет закончившегося разездом и своеобразным тяжелораспутным образом жизни Марии Львовны (близкой подруги Авдотьи Панаевой, напомним, многолетней сожительницы Некрасова, компаньона ее мужа, Панаева, по изданию «Современника», сестры жены другого издателя и редактора Краевского) [см. Гершензон М. О. Избранное. В 4 тт. Т. 3: Образы прошлого. М., Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. С. 250–414].

Примечательно, что идею перевоспитания, обращения к новой жизни Боборыкин в пьесе связывает исключительно с «людьми сороковых годов», в то время как идеи эмансипации и многочисленные попытки обращения проституток на путь истинный, социального перевоспитания и личных опытов связаны именно с «шестидесятниками» [и в своем романе «Жертва вечерняя», впервые опубликованном в 1868 г., он побуждает героиню, заинтересовавшуюся современными идеями, прежде всего обратиться к перевоспитанию «падших женщин»].

Гегель здесь используется как общее имя философских увлечений и интересов 1830–1840-х гг. Для отношения к философии Гегеля – без какого бы то ни было знания ее – ярких представителей «шестидесятничества» напомним, что Варфоломей Зайцев, критик благосветловского «Русского слова», именовал Гегеля «невежественным шарлатаном», а Писарев, ведущий критик того же журнала, утверждал: «О философии Гегеля распространяться нечего. Всякий читатель знает не понаслышке [sic! – *A.T.*], что это штука хитрая и что понять ее мудрено и, кроме того, бесполезно» [цит. по: Чижевский Д. И. Гегель в России / Вступ. ст., сост. А. А. Ермичева. СПб.: Наука, 2007. С. 296].

Так в оригинале.

Напомним, что Григорьев избрал для себя образ «последнего романтика», озаглавив, в частности, свой большой лирический цикл конца 1850-х гг. «Одиссея о последнем романтике» – как его часть указан и рассказ «Великий трагик» (вероятно, за мыслимый образец взят прежде всего Гейне).

Так, согласно «Повести временных лет», обратился Святослав Игоревич к своей дружине перед битвой с византийским войском под Переяславцем в 971 г. [Повесть временных лет. Ч. 1: Текст и перевод / Подг. текста Д. С. Лихачева; пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова; под ред. чл. – корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 50].

Переплетчица, наборщица – одна из примет шестидесятых годов, времени поиска женщинами, вовлеченными и разделяющими новые идеи, каких-то социально-приемлемых форм труда, обеспечивающих самостоятельный заработок. Е. Н. Водовозова, известная деятельница 1860-х-1910-х годов, вспоминая о настроениях пореформенной эпохи, писала: «Среди женщин началась бешеная погоня за заработком: искали уроков, поступали на службу на телеграф, наборщицами типографий, в переплетные мастерские, делались продавщицами в книжных и других магазинах, переводчицами, чтицами, акушерками, фельдшерицами, переписчицами, стенографистками. Отношение общества к трудящимся женщинам тоже быстро менялось» [Водовозова Е. Н. На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты. В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1987. С. 174–175]. Ср. в воспоминаниях Г. З. Елисеева (сотрудника «Современника», соредатора «Отечественных записок» с 1868 г.) о реакции на выход романа «Что делать?»: «Никакой манне небесной не обрадовались бы так люди, погибавшие от голода, как обрадовалась этому роману молодежь, доселе бесцельно шатавшаяся по Петербургу. Он был для нее точно озарением, посланным свыше. Они начали делать именно то, что должны были делать по прямому смыслу романа в настоящем. Начали образовываться ремесленные мастерские и другого рода артели: швейные, переплетные, сапожные, издательские и т. д.» [Елисеев Г. З. Воспоминания // Шестидесятые... С. 300].

Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806–1873) – английский философ, социолог, экономист и политический деятель, один из крупнейших представителей философии утилитаризма, истолкователь и пропагандист позитивизма. В России с середины 1850-х пользовался большой известностью и популярностью, в том числе среди представителей самых разных политических взглядов, от К. Н. Леонтьева до радикалов круга «Русского слова». Чернышевский использовал русский перевод «Основания политической экономии» Милля для пропаганды и разъяснения своих воззрений посредством обильных примечаний переводчика – этот труд сохранял большой авторитет в русских радикальных кругах до конца XIX века. Симпатии к Миллю среди радикально настроенной молодежи были связаны, в частности, с его участием – и теоретическим, и практическим – в женском освободительном движении, пропагандой новых воззрений на семейные отношения.

Утилитаризм (лат. *utilitas* – польза, выгода) – широкое направление в этике, согласно которому моральная ценность поведения или поступка определяется его полезностью. Большое развитие утилитаристские теории приобрели в XIX в. Классическая утилитаристская доктрина связана с именем Иеремии Бентама (1748–1832), давшего ее первое систематическое изложение. Милль, упоминаемый в предшествующих репликах, создал отдельную работу, специально посвященную утилитаристской этике, – «Утилитаризм» (1861), в которой, в отличие от Бентама, произвел разграничение благ на высшие и низшие (и тем самым отошел от базового принципа утилитаризма Бентама – количественной сопоставимости всех благ между собой). В русском контексте утилитаризм оказался благодаря Чернышевскому тесно связан с фейербахианством («антропологическим принципом»), породив своеобразную концепцию разумного эгоизма.

...Милль в своей «Логике»... – имеется в виду “A System of Logic, Ratiocinative and Inductive”, один из основных трудов Дж. Ст. Милля, вышедший первым изданием в 1843 г. Первый русский перевод: Милль Дж. Ст. Система логики. В 2 тт. / Пер. с англ. Ф. Резенера. СПб: Типография М. О. Вольфа, 1865, 1867.

Жантільнічаць (от фр. *gentile* adj.) – жеманнічаць, кокетнічаць, ломатся.

Метранпаж (фр. *metteur en pages*) – наборщик или руководитель группы наборщиков, сверстывающий наборный материал и окончательно подготовляющий набор для отправки в машину.

Реал (от нем. Regal) – стол с наклонной верхней доской и полками внизу, служащий рабочим местом для ручного наборщика.

Леви бен Гершом (לוי בן גרשום, Gersonides или Ралбáг, ивр. לוי־בן־גרשון, 1288–1344) – средневековый иудейский ученый-энциклопедист. Автор сочинений на иврите по математике, астрономии, философии, богословию, физике, метеорологии и астрологии. В отличие от Маймонида открыто декларировал свою приверженность философии Аристотеля. Часть трактатов Герсониды была переведена на латынь и получила признание среди христианских философов эпохи Возрождения.

Имеется в виду Маймонид (Моше бен Маймон, ивр. **רמב"ם** **בן** **מימון**, называемый также Рамбам, 1135/38–1205) – наиболее известный средневековый иудейский философ, автор трактата «Путеводитель растерянных» [русский перевод: Рабби Моше бен Маймон (Рамбам). Путеводитель растерянных / Пер. и коммент. М. А. Шнейдера. Иерусалим, М.: Gesharim, Мосты культуры, 2000, 2010.]

Нежелание «слышать про Маймунида» у Левенштрауха связано с восприятием Маймонида как представителя традиционного иудаизма, а Герсонида – как выразителя идей, близких к Ренессансу, т. е. противопоставлением ортодоксии реформированному иудаизму, в сочетании со стремлением в самом иудаизме найти основания, позволяющие осуществить включение в модерную европейскую культуру и таким образом не порывать со своими еврейскими корнями, а переосмыслить иудаизм [см. подробнее: Кац Я. Исход из гетто: Социальный контекст эмансипации евреев, 1770–1870 / Пер. с англ. И. Мюрберг, Г. Зелениной; науч. ред. И. Лурье. М., Иерусалим: Мосты культуры, Gesharim, 2007; Барталь И. От общины к нации: Евреи Восточной Европы в 1772–1881 гг. / Пер. с англ. А. Сменникова, Г. Зелениной; науч. ред. И. Лурье. М., Иерусалим: Мосты культуры, Gesharim, 2007; Frankel J. Prophecy and Politics: Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 1862–1917. Cambridge University Press, 1984].

Этьенн Бонно де Кондильяк (Etienne Bonnot de Condillac, 1715–1780) – французский философ, создатель сенсуалистской теории познания (главный труд: «Опыт о происхождении человеческих знаний», 1746). Его идеи легли в основание последующей концепции «идеологов» (прежде всего Антуана Дестюта де Траси и Пьера Кабаниса).

Явным прообразом Карачеева послужил Н. А. Некрасов – см. нижеследующие комментарии. Имя героя, возможно, образовано по ассоциации с именем Некрасова, Карабихой (Ярославской губернии), приобретенным им в 1861 г.

«Карамзинский слог» с начала 1840-х гг. обратился в символ архаичного языка, отсталости от времени. См., например, замечание Белинского в проходной рецензии на исторический роман «Князь Курбский» Б. М. Федорова (1843): «Из выписок, приведенных выше, читатели, между прочим, вероятно, заметили, что роман Б. М. Ф(Θ)едорова написан плавным, высоко-торжественным слогом, каким нынешнее развратное человечество уж не пишет. Что прикажете делать? В наше время, когда некоторые дерзкие люди осмеливаются говорить, будто и литература, и язык русский значительно шагнули вперед, Б. М. Ф(Θ)едоров все еще придерживается старины, и округляет свои периоды по методу “Карамзинской речи”, не обращая внимания на то, что сам Карамзин, после прозы Пушкина, не стал бы писать так, как писал в свое время. Эта метода, как всякому известно, заключается в употреблении разного рода риторических фигур и в особенном расположении слов, по которому причастия и прилагательные имена ставятся весьма часто после существительных» [Белинский В. Г. Сочинения. В 12 тт. Т. VII / [Под ред. Н. Х. Кетчера и А. Д. Галахова]. М.: Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1860. С. 302–303].

Ср., например, из дневника Ф. М. Решетникова, литератора 1860-х гг., сотрудника «Современника», запись от 7 января 1866 г. (описание событий конца декабря 1865 г.) о попытках узнать у Некрасова о судьбе своего романа («Горнорабочие»): «Перед рождеством я получил милостыню, и милостыню хорошую. В начале декабря я написал Некрасову довольно резкое письмо, что я хожу к нему не за деньгами; если бы я был богат, не стал бы кланяться, а напечатал бы роман особой книгой, не отдавал <бы> его ни в какой журнал, и в заключение написал, что я к нему больше боюсь ходить и не отдаст ли он мне роман назад. Деньги же, 65 р., он дал мне в счет статьи “Похождения бедного провинциала в столице”, которую хотел поместить сперва в октябрьской, а потом отложил до ноябрьской или декабрьской книжек. Недели через две с половиной после этого я получил из конторы “Современника” письмо, что я могу застать дома Некрасова между 12-м и 2-м часом. В письме, написанным чиновничьим тоном, тоном канцелярии директора, не было написано, для чего оно ко мне послано. Однако догадываясь, что я могу явиться к Некрасову, – пошел.

Некрасов мне сказал:

– Вы напрасно обижаетесь. Вы не поняли моих слов. <...> Ваш роман так велик, что я не могу его сразу прочитать, а прочитавши первую часть, я не могу печатать, потому что не знаю, каково будет продолжение. Я понимаю ваше положение, и я говорил вам, что я раньше декабря не могу дать вам большого количества денег. Теперь я могу дать, а когда прочитаю роман, тогда дам еще больше.

– Мне не хотелось бы брать денег вперед.

– Это ничего. Я могу вам дать сто рублей. Если в случае чего-нибудь, – вы напишете другую статью.

Что я против этого должен был сказать, когда у меня в кармане не было ни копейки денег? Ну, я и мигал глазами, и не хотелось мне брать денег, но он сказал:

– По началу, которое вы читали, я сужу, что роман годится для “Современника”, и я, как перепису его, постараюсь поскорее прочитать его.

А между тем сколько мук я принял с этим романом. Не раз мне доводилось плакать за Елену Токменцеву, за отца ее, мать, Корчагина и прочих угнетенных и угнетаемых людей.

– Но я вас должен предупредить, что теперь я плачу понемногу. Если я по первым книжкам увижу, что журнал пойдет в 1867 г., то буду вам платить по 40 р. за лист, а если нет, то 30 р.

Он хотел запугать меня; ему хотелось тешиться надо мной. Он понимал, что мне, при настоящем положении, можно назначить и 10 р. за лист. Вот и надейся на литературу. А он еще поддразнивает меня:

– Вы бы искали службы.

От этого человека я не ожидал этого, да он и знает, что я не чиновник и меня никто не примет на службу.

Он показал мне, для очистки своей совести, переписку романа. Первая часть переписана только на четверть. Писарь захворал» [Решетников Ф. М. Дневник / Предисл. и прим. И. Векслера // Литературное наследство. Т. 3. М.: Журнально-газетное объединение, 1932. С. 178].

5 августа 1866 г. Решетников, в числе прочего, записывает об отношениях с П. В.

Вейнбергом, на тот момент редактора в «Будильнике»: «Я несколько раз просил В<ейнберга> уведомить меня о статьях и издании соч<инений>, но он и не думает отвечать, а желает, чтобы я сам приехал в интендантство [где служил Вейнберг – А.Т.], где я должен буду унижаться перед сторожами» [Там же. С. 183].

В той же записи – уже в воспоминание об отношениях редакции закрытого «Современника» к нему: «<...> гг. Пьпин, Антонович и прочие не обращали на меня внимания и, бывало, когда придешь в редакцию “Современника”, боятся даже поздороваться с тобой, а разговаривали больше в другой комнате. <...> Некрасов уехал в поместье <...>» [Там же. С. 181–182].

В записи от 12 сентября, о попытке получить долг от «Искры»: «Они говорят, что нет денег, – и только. Посидишь, послушаешь разные сплетни и уйдешь или с 3 рублями, или ни с чем. <...> Но когда сидишь довольно долго, то замечаешь, что приятелям своим он дает деньги в другой комнате: возьмет бумажник, уйдет, запрет ее – и слышно: “25 р., 35 р.”...

То, что Курочкин мог бы рассчитывать со своими сотрудниками исправно, доказывается тем, что он живет на Невском, имеет хорошую квартиру, – такую, что швейцар не пустит к ней человека в грязных сапогах, как это было со мной в январе нынешнего года или раньше – не помню, имеет лакея и т. п. людей, принимает только по воскресеньям с 12 часов, ездит в театры и т. п. Хотя же он и говорит кому-нибудь не раз из его приятелей: приходите в среду – вам скажут: “Нет дома”. Раз мне жена его, женщина важная, заметила, чтобы я не бросал пепел с папироски на пол, и когда я сижу один с Вас<илием> Кур<очкиным>, она говорит: “Ах, как накурено! голова просто болит”» [Там же. С. 184].

Идея устроить литературный труд на новых началах была одной из наиболее устойчивых среди литераторов в 1860-е гг. Образчиками такого рода попыток был «артельный» журнал «Век», возглавляемый П. Вейнбергом [см.: Козьмин Б. П. От «девятнадцатого февраля» к «первому марта»: Очерки по истории народничества. М.: Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1933. С. 11–38]. В 1865 г. ключевые сотрудники редакции «Современника» предприняли попытку осуществить ревизию бухгалтерских книг журнала для установления новых принципов оплаты труда [см.: Евгеньев-Максимов В., Тизенгаузенн Г. Последние годы «Современника». 1863–1866. Л.: Художественная литература, 1939. С. 127–137]. В 1866 г., после выхода из «Современника» (незадолго до его закрытия по распоряжению властей) ключевых сотрудников, Антоновича, Пыпина, Жуковского и Елисеева, между ними было достигнуто неформальное соглашение организовать род артели и наняться в новый журнал только всем вместе. Некрасов со своей стороны пытался достигнуть частного соглашения с Пыпиным, но, не сумев с ним договориться, в итоге привлек в новые «Отечественные записки» Елисеева, в свою очередь до публичного объявления о новой редакции сохранившего договор в тайне от артельщиков [Антонович десятки лет спустя в мемуарах не мог сдержать своего негодования, тем более сильного, что в 1861–1866 гг. он был с Елисеевым более всего близок – см.: Антонович М. А. Воспоминания... // Шестидесятые годы... С. 208–231]. Из числа других литературно-публицистических «артельных» проектов нельзя не вспомнить попытку «молодой эмиграции» (Н. Утина и его кружка) навязать Герцену соглашение, по которому тот продолжал бы нести все издержки по изданию «Колокола», а заведывание им в равных правах принадлежало бы Герцену, Огареву и представителям так называемой первой «Народной воли».

Гласность – одно из ключевых понятий шестидесятых годов, тесно связанное с «обличительным» направлением в литературе (2-я пол. 1850-х гг.), преданием гласности тех или иных неблагоприятных явлений [см., в частности: Обличители: Русские пьесы о чиновниках 1850-х годов / Сост. К. Ю. Зубков, А. С. Федотов. М.: Common place, 2019].

Выборгская сторона – исторический район Петербурга, расположенный на правом берегу рек Нева и Большая Невка, отдаленный от центра города и бывший традиционно местом расположения промышленных предприятий, рабочей окраиной.

...в дьячки идти из семинарии... Дьячок – церковнослужитель низшего разряда, не имеющий степени священства (т. е. не являющийся священнослужителем, в отличие от священника и диакона). В дьячки из семинарии можно было попасть только при совсем горестном положении дел – будучи отчисленным по крайней неспособности с одного из первых курсов и не имея никаких заступников в епархии и благочинии.

Фактор (лат. factor) – заведующий типографскими работами.

Псалом 136 «На реках Вавилонских».

Le bal Mabille – увеселительный бал в Париже середины XIX в.

Компатриот (от фр. compatriote) – земляк, соотечественник.

Видимо, искаженное от Alice la Provençale. Была известной танцовщицей в Le bal Mabille тех лет.

В воспоминаниях Боборыкина, описывающих его знакомство с Дюма-сыном и его семейством в Париже в 1869 г., есть следующий эпизод:

«На тогдашней выставке в Елисейских полях Дюма пригласил меня на завтрак в летний ресторан “Le Doyen”, долго ходил со мною по залам и мастерски характеризовал мне и главные течения, и отдельные новые таланты. С нами ходил и его приятель – кажется, из литераторов, близко стоявших к театру. И тут опять Дюма выказал себя на мою тогдашнюю оценку русского слишком откровенным и самодовольным насчет своих прежних любовных связей. Разговор зашел о “Comédie Française” и об одной актрисе, державшей тогда амплуа *jeune première* в комедии и легкой драме, не очень красивой и даровитой, но довольно симпатичной. Я не назову ее по фамилии. Дюма заговорил о ней очень сочувственно, повторяя, что никто не знает, какая это милая женщина во всех смыслах. – *Vous savez*, – добавил он, – *c’est moi qui l’ai ouverte**. И это слово “открыл” он сопровождал такой миной, что ему весьма возможно было придать более реальный и довольно-таки бесцеремонный смысл» [Боборыкин П. Д. Воспоминания... Т. 2. С. 46].

* Вы знаете, ее открыл никто иной, как я (фр.).

Иван Иванович Излер (1810–1877) – антрепренер, увеселитель петербургской публики, швейцарец по происхождению.

Возможно, вновь дополнительный намек на И. С. Тургенева, на его многолетнюю и общеизвестную влюбленность в Полину Виардо (урожденная Гарсиа). Впрочем, в Испании Тургенев, в отличие от Боборыкина (и Боткина – своего большого друга 1850-х – начала 1860-х гг., автора знаменитых «Писем об Испании» и эпикурейца не в философском, а в расхожем житейском смысле слова), не бывал, доехав лишь до Пиренеев (и, следовательно, если и мог судить о достоинствах испанских женщин, то не в их родной среде).

Сак (фр. sac) – дорожный мешок, сумка из плотной ткани.

Немного отдает картофелем (нем.).

Помимо продолжения сквозной для 1-й сцены III акта темы запахов, здесь, возможно, отсылка к прозвищу Н. Г. Чернышевского, «клоповоняющий господин», данному Л. Н. Толстым. Так, в письме к Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г. Толстой рассуждал: «Теперь срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет и голос скверный».

Мне нужно их по-настоящему потрепать, мой друг (фр.).

Об этом берлинском отеле вспоминал Боборыкин уже в 1892 г. в связи с И.А. Гончаровым: «Обед в Hôtel de Rome считался самым лучшим [речь идет о поздней весне 1870 г. – *А.Т.*], и наши веселые ребята постоянно звали Гончарова обедать с ними. Он жил Под липами, в существующем до сих пор British Hôtel.

– Иван Александрович, – повторяли они ему, – ведь вы сами говорите, что еда у вас не первый сорт; так зачем же вы там обедаете? Да лучше бы вам и совсем переехать в “Рим”, где цены такие же, а комнаты и стол и сравнить нельзя?

– Вы правы, друзья мои, – кротко отвечал им каждый раз Гончаров, – но, видите ли, как же я тогда буду проходить мимо British Hôtel’я. Хозяин может стоять на крыльце, увидеть меня. Я не могу этого сделать. Как хотите! <...>

На тротуаре вблизи British Hôtel’я и познакомили меня с Гончаровым. До сих пор помню, с какой интонацией он повторил мою фамилию и своим мягким, приятным тоном прибавил вопросительно:

– Писатель?» [Боборыкин П. Д. Воспоминания... Т. 2. С. 436–437].

Смысл этой сцены во многом проясняется, например, через обращение к цитированному выше дневнику Ф. М. Решетникова: в его случае Некрасов назначает за роман (автора, довольно известного, выпустившего получившую хорошие отзывы повесть «Подлиповцы» (неоднократно переиздававшуюся и в следующем столетии) 40 рублей (или 30, если дела журнала пойдут не очень хорошо). Другими словами, если бы Элеонский рассчитывал напечатанный текст по этой ставке, то в предстоящем номере должно было быть напечатано от 12,5 до почти 17 п. л.

Для журналов во 2-й пол. XIX века были характерны следующие гонорары [Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М.: Изд-во МПИ, 1991. С. 84]:

Вид публикаций	Журнал		
	«Современник» (1856 – 1859)	«Отечественные записки» (1871)	«Вестник Европы» (1894 – 1897)
Проза (за 1 п.л.)	50 (максимум – 100)	60 – 75 (максимум – 125)	80 – 100 (максимум 250)
Поэзия (за 1 стихотворение)	10 – 15	15 – 20	10 – 15
Статья (за 1 п.л.)	30 – 50	60 – 75	80 – 100

Совсем небольшая группа авторов оплачивалась по особым условиям – по индивидуальной гонорарной ставке. Так, согласно тому же автору [Рейтблат А. И. От Бовы... С. 88], для конца 1850-х и для 1860-х гг. ситуация выглядела следующим образом (заметим, что в число наиболее высокооплачиваемых авторов Боборыкин попадет в 1870-е гг., с гонораром в 150 р., вровень с Г. И. Успенским и в 1/4 от гонораров Л. Н. Толстого и И. С. Тургенева):

Конец 1850-х		1860-е гг.	
И.С. Тургенев	400	И.С. Тургенев	300
И.А. Гончаров	200	Л.Н. Толстой	300
Ф.М. Достоевский	200	А.Ф. Писемский	265
А.Ф. Писемский	200	И.А. Гончаров	250
А.А. Потехин	125	Марко-Вовчок (М.А. Маркович)	250
Н. Щедрин (М.Е. Салтыков)	125	М.В. Авдеев	200
Л.Н. Толстой	100	Н.С. Соханская	150
Д.В. Григорович	75	Ф.М. Достоевский	125
В.И. Даль	75	Н. Щедрин (М.Е. Салтыков)	125
Н.В. Успенский	60	Д.В. Григорович	100
М.Л. Михайлов	50	Н.С. Лесков	100
И.И. Панаев	50	Н.Д. Хвощинская	100
А.Я. Панаева	50	В.В. Крестовская	50
С.Т. Славутинский	50	Г.И. Успенский	50
		А. Михайлов (А.К. Шеллер)	50

С учетом того, что в пьесе речь идет о повести, при этом напечатана в предстоящем номере должна быть только первая ее часть, а также принимая во внимание журнальные обыкновения той эпохи, объем публикации мог быть порядка 2–2 1/2 п. л.

Другими словами, Элеонский требует себе расчета не по высшей из возможных, но по очень высокой гонорарной ставке, экстраординарной, равняя себя с первыми на литературном рынке по известности и востребованности авторами – в 15 раз больше, чем зарабатывал за 1 п. л. реальный Ф.М. Решетников, в 3,5–4 раза больше, чем Н.В. Успенский в период короткого громкого успеха.

Директорская ложа – правая ближайшая к сцене ложа.

Пушкин для конца 1850-х и в особенности для 1860-х гг. – одно из символических, ключевых имен в полемике. Широкую скандальную известность приобрели оценки поэзии Пушкина Писаревым, однако генеалогия спора восходит к середине 1850-х гг., когда для круга Дружинина, Тургенева, Анненкова и др., имя Пушкина станет символическим обозначением, ярким выражением эстетического совершенства, несводимости искусства к каким-либо практическим целям, тогда как для радикальной критики 1850-х-1860-х гг. речь будет идти об искусстве как о некоей форме, значимой в той мере, в какой оно способствует распространению истинных идей, возбуждению гражданских чувств или чему-либо подобному. Так, Антонович, полемизируя с Писаревым (отстаивая понимание реализма как не отвергающего «искусства и эстетических потребностей» и ставя их в ряд «других естественных деятельностей и потребностей человека»), настаивал: «Художники и поэты не должны изгоняться из общества как люди бесполезные; нет, от них нужно требовать, чтобы они сделались полезными, чтобы служили обществу и общественному развитию тем сильным и деятельным орудием, которое есть у них в руках. Пусть они своими произведениями содействуют развитию гуманности в обществе, внушают людям презрение к глупости, пошлости, апатии, насилию, отвращение к жестокости и бездельной жизни на счет пота и крови ближних, и наоборот пусть вызывают и будят общество к благородной, разумной и самоотверженной деятельности. Тогда искусство будет полезно и реально полезно; эти задачи исполняли и исполняют лучшие из художников и поэтов» [цит. по: Евгеньев-Максимов В. М. А. Антонович и его воспоминания // Шестидесятые годы... С. 20–21]. В свою очередь для Ап. Григорьева вторая 1850-х станет временем все более и более высокой оценки Пушкина, чтобы прийти к известной формуле «Пушкин – наше все» [см.: Вдовин А. К., Зубков К. Ю. «Спор Петербурга с Москвою». Литературная полемика первой половины 1850-х годов // «Современник» против «Москвитянина»... С. 30].

Выражение, означающее непонимание кем-либо предмета разговора, непонимание спорящими друг друга.

Шпон (от нем. Span, Spon) – межстрочный пробельный материал. Квадрат (от лат. quadratus) – металлический строчный пробельный материал, применяемый при ручном наборе текста, таблиц и формул, а также при верстке; по толщине квадрат равен кеглю набираемого шрифта, а по ширине составляет 48, 36 (трехчетвертник) или 24 (полуквадрат) пунктов (где пункт – единица типографской системы мер: в ней выражаются кегль шрифта и проч., в большинстве случаев использовалось значение пункта как $1/72$ французского дюйма, равное 0,3759 мм, поскольку впервые пункт был введен во Франции в 1737 г., за полвека до введения метрической системы, и в силу значения французских печатников распространился по миру; английский пункт равен 0,3514 мм – $1/72$ от английского дюйма).

В Российской империи курение на улицах было воспрещено в 1839 г. (после серии ограничительных мер). Запрет обосновывался соображениями пожарной безопасности. См.: Богданов И. Дым отечества, или Краткая история табакокурения. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 34–44.

Персонажи комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

Слова Репетилова, обращенные к Чацкому (действ. IV, явл. 4).

Из поэмы «Мертвые души» (1842) Н. В. Гоголя, ч. 1, гл. 6: «...То, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть». Примечательно, что намного позже, в 1882 г., этим выражением воспользуется, слегка изменив, И. С. Тургенев, озаглавив так одно из стихотворений в прозе – «О моя молодость! о моя свежесть!».

Рукомесло – то же, что ремесло.

Поговорка, полная форма которой, указываемая В. И. Далем: «В горе жить – некручинну быть; нагому ходить – не соромиться». Практически одноименная песня («Ох, в горе жить...») входит в сборник Кирши Данилова. См.: Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.: Наука, 1977. С. 198.

Примечательно, что позже Н. А. Некрасов обратится к этой же поговорке в «Посвящении», предназначавшемся для издания сборника стихотворений 1874–1877 г., но опубликованном уже посмертно:

Вам, мой труд ценившим и любившим,
 Вам, ко мне участие сохранившим.
 В черный год, нависший надо мной,
 Посвящаю труд последний мой!
 Я примеру русского народа
 Верен: «в горе жить —
 Некручинну быть» —
 И больной работаю полгода,
 Я трудом смягчаю свой недуг:
 Ты не будешь строг, читатель-друг!

*1 февр<аля> 1877. СПб. [Некрасов Н. А. Последние песни / Изд. подгот.
 Г. В. Краснов. М.: Наука, 1974. С. 118.]*

Сосуд скудельный – о человеке как слабом, брэнном существе. У А. А. Фета: «Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь?».

В этом монологе Гудзенко выражает свою позицию, занимая промежуточное положение между разными литературно-журнальными лагерями («людьми сороковых годов» и «новыми», нигилистами), а также отношение к национальным движениям и требованиям национальной идентичности, исходящим от конкурирующих национальных проектов, в равной степени претендующих и предписывающих ему лояльность, – украинофилов и русских/москалей. Здесь наблюдается очередное хронологическое смещение пьесы, поскольку наибольшей остроты споры, о которых говорит и на которые сетует Гудзенко, достигли в 1861–1863 гг. Примечательно также, что Боборыкин вкладывает в уста своего героя характеристику языка как южно-русского – политически компромиссную, следующую за костомаровской трактовкой двух русских народностей в рамках единого русского народа. Обвинения в сепаратизме отсылают прежде всего к полемике с и в адрес украинофилов со стороны М. Н. Каткова и его изданий («Русского вестника», «Современной летописи», с 1863 г. – «Московских ведомостей»), поскольку он указывал на логику национального движения, угрозу сепаратизма как объективное следствие таких действий и устремлений, независимо от субъективных чаяний и намерений конкретных участников. См. о спорах тех лет подробнее: Миллер А. И. Украинский вопрос в Российской империи. К.: Laetus, 2013; Костомаров Н. И. Две русских народности. В 2-х кн./ Сост., вступ. ст. А. А. Тесли. М.: Рипол-Классик, 2018.

Якоб Молешотт (Jakob Moleschott, 1822–1893) – философ голландского происхождения, большую часть жизни работал в Италии, основные публикации – на немецком. В России в 1860-е (и в дальнейшем в силу сложившейся традиции) их вместе с Бюхнером обычно упоминают как представителей «вульгарного материализма», объяснявших социальные и культурные явления через сведение к биологическому, физиологии. С именем Молешотта прежде всего связывают афоризм, популярный среди «шестидесятников»: «Человек есть то, что он ест». Д. И. Писарев посвятил отдельную статью изложению «Физиологических эскизов» Молешотта (1861).

Видимо, имеется в виду *Elixir acidum Halleri* или Галлеров эликсир. Применялся при внутренних кровотечениях.

Asinus asinum fricat (лат.) – осел об осла трется (дурак дурака хвалит).

Стратим – птица-берегиня с женским лицом. Стратим – праматерь всех птиц.

См. прим. 12.

Имеется в виду наборная касса (шрифт-касса) – открытый сверху широкий плоский ящик, предназначенный в ручном наборе для размещения комплекта шрифта определенной гарнитуры и кегля. О степени волнения героини говорит то обстоятельство, что между «емъ» и «о» – при условии, что она пользовалась стандартной русской наборной кассой 2-й пол. XIX века – достаточно большое расстояние и к стандартным типографским ошибкам, когда вместо нужной нечаянно брали литеру из соседней ячейки, ее нельзя отнести.

Alcoholismus chronicus (лат.) – алкоголизм хронический.

Alcoholismus acutus (лат.) – алкоголизм острый.

«Гамлет Щигровского уезда» – рассказ И. С. Тургенева из цикла «Записки охотника», написан в 1847 г., опубликован в 1849 г. (Современник, 1849, № 2). Наряду с «Дневником лишнего человека» стал одним из наиболее часто упоминаемых текстов – как обрисовка «лишних» людей, отождествляемых в дискуссиях конца 1860-х с «людьми сороковых годов» или же мыслящихся как более общее понятие, частным, исторически конкретным случаем которых являются представители поколения 1840-х. Значимо, что главному действующему лицу Тургеневу придал целый ряд вполне автобиографических черт – Берлинский университет, путешествие по Италии, дружеский кружок и т. д. Оно выступает одним из разбирательств с собственным прошлым и представлениями своего круга, наряду, например, с поздней критикой кружков и атмосферы, которая затем будет ассоциироваться с «людьми сороковых годов», у Белинского [см.: Иванов-Разумник. Книга о Белинском. Пг.: Мысль, 1923. С. 38].

Donec eris felix, multos numerabis amicos (лат.) – Пока ты будешь счастлив, у тебя будет много друзей (Овидий, «Скорбные элегии»).

Вольная цитата из трагедии В. Шекспира «Король Лир» (сцена 7, акт IV).

Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти Белинского».

Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали!».

Цитата из того же стихотворения.

Цитата из поэмы Т. Г. Шевченко «Катерина».